

Предисловие к изданию Леушинского монастыря 1916 года

Записки игумений Таисии, известной своей высокой духовной жизнью, своими трудами по благоустройству нескольких женских обителей и своими духовными стихотворениями и "Письмами к новоначальной инокине", являются автобиографией почившей и доведены до начала жизни ее в Леушине. Они написаны были ей в разное время, и последний очерк относится к 1892 г. По глубокому смирению своему, м. Таисия не решалась предавать печати эти записки, хотя знаменитый молитвенник о. Иоанн Кронштадтский, питавший особое почтение и любовь к почившей, желал видеть их напечатанными. Он читал эти записки и собственноручно написал в конце одной тетради записок: "Благословляю печатать эту книгу, как достойную печати, на память будущим родам и во славу Божию. Прот. И. Сергиев, 31 окт. 1906 г.", и на другой тетради записок: "Дивно, прекрасно, божественно, печатайте в общее назидание. Прот. И. Сергиев, авг. 21, 1892 г."

В настоящее время преемница м. игумений Таисии и ее ближайшая сотрудница, игумения Леушинского монастыря Агния, решилась исполнить волю приснопамятного пастыря о. Иоанна и напечатала их в журнале "Кронштадтский Пастырь" и в виде отдельного оттиска без изменений настоящей книгой.

В автобиографии м. игумений Таисии мы видим замечательное действие Промысла Божия, сказавшееся во всей жизни почившей матушки. Можно сказать несомненно, что она с самых малых лет была избрана Промыслом Божиим на служение Святой Церкви и ближним своим в звании монашеском.

И это звание пришлось проходить ей при несении весьма тяжелого креста.

Сама она свидетельствует, что крест ненависти и зависти к ней людской был спутником всей ее долголетней жизни.

"Этот крест, - пишет матушка Таисия в своей автобиографии, - станет над моей могилой, и не только, как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя.

Но этот крест и привел ее на высоту христианского подвига, соделал ее истинной исполнительницей заповеди Спасителя: Кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет.

Читая внимательно эту автобиографию игумений Таисии, мы можем ясно видеть всю величину и всю тяжесть иноческого подвига, а также видеть и все настоящее значение иноческой жизни, как для желающих найти верный путь спасения, так и для мирян, которые, находясь в суете житейской, могут видеть из этой автобиографии, что Бог в тяжестях Его знаем есть, что если и посвятившие себя иноческому служению могут истинно познавать Бога только чрез посылаемые им испытания, то, тем более, увлеченные житейской суетой, могут изникнуть из этой греховной сети только чрез путь того крестоношения, какой Господь, желающий всем спастись и в разум истины прийти, посылает и каждому мирянину, лишь бы он слышал этот зов и следовал ему.

Чтение автобиографии матушки и может отрезвить многих мирян.

Не по своей воле или желанию начинаю я эту запись, и не только не по желанию, но даже и против него; единственно, из послушания людям, гораздо более меня опытным, без сравнения умнейшим меня и более духовным, людям известным не только мне, убогой, но и всем ревнующим о жизни богоугодной и о спасении своих душ.

В 1885 году привел меня Господь побывать во святом граде Киеве, в Печерской Лавре, где в то время еще подвизался всеми почитаемый за святость жизни игумен Агапит, в схиме Феодосий, который и состоял духовником для лиц освященных (т.е. носящих какой-либо священный сан). Я была уже игуменией и имела счастье и на исповеди быть у него, и вообще открыть ему всю свою душу, чего мне давно хотелось и чего я искала, и о чем и Бога просила.

Между прочим, тяготила меня, или вернее сказать, заботила меня мысль о том, что я, будучи такая немощная и грешная, сподоблялась в жизни своей многих чудных явлений и видений, я даже иногда начинала опасаться, "не прелесть ли это вражия", каковой я по своей неопытности не понимаю, и меня страшно пугала мысль быть прельщенной и обманутой. Найдя в лице старца схиигумена Феодосия такого, не только духовно опытного, но и прозорливого духовника, как все признавали его, как и я сама испытала собственным опытом, я, конечно, открыла ему всю свою душу, и все тайны, все мысли ее повергла на его мудрое усмотрение и просила разрешить мое недоумение относительно и моих видений. И вот великий муж, не нашед в них ничего опасного, признал их, напротив, за знамение милости ко мне Божией, и, кроме того, советовал, настоятельно советовал мне их все записывать, как для своей собственной памяти, так, по словам его, и на пользу другим. Эти-то последние слова и страшили меня, хотя я и дала ему обещание тотчас же заняться записью, но решительно не дерзала приняться за это дело.

"Кто я, - думаю и теперь, - что чрез меня, грешную, будет Господь пользоваться других, более меня достойных пред Ним?" Да если еще, прочитав или услышав об этих чудных явлениях мне, кто-нибудь помыслит обо мне что-либо доброе, как бы об удостоившейся этого по заслугам, то какому ответу подлежу я пред Господом, сказавшим: "Горе вам, егда добре о вас рекут человецы", и еще: "Горе вам, славу друг от друга приемлющим". О, не подумайте, родные мои, не подумайте, Богом умоляю вас всех, кому случится прочесть эти записки, что во мне могло бы быть что-либо заслуживающее милости Божией; верно слово, что "благодать и сила Божия в немощех совершается, там именно, где умножается грех", ибо "хотением не хочет Бог смерти грешника, но еже обратится ему". Так и меня-то, грешную, Господь искал во всю мою жизнь, и вел меня десницей Своей, как мать ведет дитя свое неразумное, чтобы оно, неумеющее ходить по скользким путям, не упало и не повредило себя. Но, опять повторяю, я не решалась предать это гласности, т.е. написать, и даже несмотря на приказание глубоко чтимого и любимого мной старца схиигумена Феодосия, коего память для меня священна, как память праведника, - не знаю, решилась ли бы я на это, если бы не последовало и еще одного к сему побуждения. Однажды довелось мне более часа беседовать наедине с общеизвестным нашим светильником о. Иоанном Сергиевым-Кронштадтским. Когда разговорились мы с ним о вышеприведенном предмете, то и он стал доказывать мне необходимость предать записи все бывшие мне явления и видения, каковые, по мнению его, имеют много назидательного смысла и значения, не только единолично для меня самой, но и для других. Итак, исполняя послушание к великим духовным мужам, я приступила к делу с благословения и с помощью Господа. Бога же призываю в свидетели, что пишу чистую правду и истину, настолько справедливо, насколько доступно передать словом необъяснимое, высшее, и насколько сохранила во мне все сие моя память, без всякой прикрасы, в полной истине.

I

Родители мои происходили из древних дворянских фамилий: отец - потомственный дворянин, помещик Новгородской губернии, Боровичского уезда, В. В. Солопов, а мать, москвичка, из рода Пушкиных. Родителей своих она или не помнила, или же, что вернее было

бы предположить, намеренно их не вспоминала и на случайные мои о них вопросы, вызывавшие всегда в ней чувство грусти, уклонялась отвечать.

Еще малюткой осталась она на руках старца - дедушки Осипа Алек. В., которого и называла отцом, да и действительно он заменял для нее самого нежного и заботливого отца. Он был человек вдовый, одинокий и уже преклонных лет, но, несмотря на то, всецело отдался заботам о ней, которые разделяла с ним и незабвенная ее няня, также уже немолодая женщина. Когда ей наступил восьмой год от роду, дедушка поместил ее в пансион (в то время лучший в Москве) г-жи Дельсаль на полное содержание, куда переселилась и няня ее, для отдельного ухода за его любимицей, что, вероятно, в то время было принято в пансионах, или же допускалось в виде исключения. В 1834 году на 14-ом году от рождения мать моя окончила свое воспитание в пансионе (получила аттестат, хранящийся у меня и по сейчас) и вместе с няней вернулась под мирный и гостеприимный покров дедушки. Но недолго суждено было отдохнуть и понежиться бедняжке-сиротке под этим кровом. От колыбели до могилы не улыбнулось ей счастье никогда. Дедушка был человек мнительный, каждая малейшая болезнь, по мнению его, угрожала ему смертью, а сиротке его - совершенным одиночеством, и он стал спешить устроить ее судьбу - выдать замуж.

Между тем, в Москве ему почему-то не хотелось ее пристроить, и он переселился с ней и со всем своим имуществом в Петербург. Вот слова самой матери моей о ее судьбе.

"Едва минуло мне пятнадцать лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа второго отца и покровителя, что внушал мне и дедушка, щедро наградивший меня приданым и деньгами. А главное, драгоценнейшее мое приданое - это моя неразлучная, бесценная няня, мой единственный друг и свидетель всего.

Когда столкнулась я с супружеской жизнью лицом к лицу, то стала смотреть на мужа скорее с ужасом и страхом, чем с любовью, которой и раньше не имела. Сознание бесповоротности своего положения томило меня до отчаяния, я плакала, скорбела безутешно. Строгая и суровая свекровь, жившая с нами, преследовала и журила меня за мои слезы, и мужу моему старалась объяснить их моей нелюбовью к нему.

Когда случалось мне видеться со старичком - отцом моим, пред которым я надеялась излить свою тоску и облегчить ее, то и тут видела следы жалоб на меня и слышала одни сухие старческие назидания и морали. Через год родился у меня ребенок; ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне Ангелом-утешителем, что ему я отдам всю свою жизнь, посвятив ее его вскармлению и воспитанию, но и этого не судил мне даровать Господь: через несколько часов после рождения, лишь успели просветить новорожденного таинством Крещения - он скончался от чрезмерной слабости. Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях, утешение единственное, по мнению моему, доступное мне. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хотя одно дитя, оставив его в живых; особенно же молилась я об этом Матери Божией, нарочно ходила пешком в Ее храмы к Ее чудотворным иконам, пред которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая Ей, что Она Сама была Матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных и недостойных Ее помощи, но в Ней имеющих единую, твердую надежду.

И не посрамила меня Владычица, Надежда ненадежных. Она даровала мне дитя - дочь, которую я из чувства благодарности к Ней назвала Ее именем - Мария."

Этой счастливой Марией, Богом дарованной на утешение скорбной матери дочерью, и

была я, недостойная, пишущая эти строки; я, в монашеском образе принявшая имя Таисии, а ныне уже имеющая около шестидесяти лет от рождения, игумения пустынного монастыря. Как прежде моего рождения, так и после него, родители мои детей не имели в живых; когда уже мне было восемь лет, родился сын Николай, проживший лишь десять месяцев и скончавшийся, оставив великую скорбь по себе не только родителям, но и мне.

Когда мать моя молилась о даровании и сохранении ей ребенка, она давала многие священные обеты, как сама мне об этом говорила. Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами стараться вложить в сердце ребенка страх Божий, любовь к Богу и ближним и, вообще, сделать его хорошим христианином. Она со всем усердием старалась выполнить этот обет, внушая мне еще с самого младенческого возраста все правила христианской жизни, стараясь применять их во всем и ко всему, что каким-либо путем было доступно моим детским понятиям.

До сего времени помню я некоторые примеры такого христианского воспитания, вполне достигшего цели (применительно детскому развитию). Я уже упоминала, что до восьмилетнего возраста была единственным ребенком родителей. Отец постоянно находился на службе, нередко ездил "в плавание". Бабушка давно уже не жила с нами, а мы с матерью моей были всегда неразлучны, до времени поступления моего в институт. Бывало, накупит мне много гостинцев, отдаст их в полное мое распоряжение; и прежде всего прикажет разложить все на столе, чтобы видеть все, затем как будто мимоходом подойдет ко мне и, указывая на стол, говорит: "Ах, Машенька, какая же ты богатая, счастливая, сколько у тебя разных лакомств, а у других-то, несчастных, бедненьких и хлебца нет, - ты бы поделилась с ними, они бы за тебя Богу помолились, а молитва нищенки доходна до Бога." Расположенная такими словами матери, я отдавала матери все до последнего, и она, не отказываясь, принимала все, говоря, что знает много бедненьких, которые часто ее просят, и что отдаст им все это. Через несколько же времени она подзывала меня и снова давала мне часть гостинцев или тех же самых, или подобных им, говоря: "Вот, ты была добрая девочка, поделилась с нищенками, - вот тебе Господь и еще послал, благодари Его, когда будешь молиться, и всегда, всегда делись, Он будет любить тебя." Сделала она мне копилку, куда часто опускали мне, в мою собственность, серебряные пяточки; когда я с няней шла гулять, она всегда напоминала мне: "А что ж ты не взяла твоих денег, - вдруг попадутся нищенки, и подать нечего, они заплачут, и Господь рассердится на тебя, что ты их не утетила". Так приучала она меня с малолетства к великой добродетели - милосердия и любви к бедным. Не смею сказать, чтобы семя это принесло обильный плод, но во славу имени Божия скажу, что случилось мне впоследствии и платье (из-под верхней одежды) снимать для отдачи его нищим, не только что делиться с ними последним. Умела она расположить и приучать меня и к молитве. Так, например: были мы с ней на рождественских праздниках где-то "на елке"; я была еще очень мала, не старше трехлетнего возраста. Очень понравилось мне это детское утешение, и, возвратившись домой, я стала просить маму устроить и у нас такую же елку. Что же она мне ответила?

- "Это, Машенька, делается только для тех детей, которые хорошо и усердно Богу молятся; молись хорошенько, и у тебя будет "елка"; Господь милостивый, Он всегда исполняет наши просьбы, наши молитвы." То же повторяла она мне и при других случаях и понуждала молиться.

Часто также беседовала она со мной, рассказывала события из Священной Истории, особенно о страдании Спасителя. Бывало, сидит она у окна своей комнаты и шьет, работает что-нибудь, а я приучусь на скамеечке у ее колен и слушаю ее рассказы. Мне было не более четырех лет, когда я могла уже читать без складов, хотя и не быстро, и знала с рассказов

матери всю священную историю земной жизни Спасителя (кроме Его учения и притчей); обладая хорошей памятью, не изменяющей мне и по настоящее время, я легко запоминала слышанное.

II

Таким образом, под непосредственным покровом и наблюдением благочестивой моей матери, протекало мое "детство. Когда мне было восемь лет, родился, как я упоминала, брат Николай; мать не могла уже тогда так исключительно посвящать мне все свое время, а между тем меня надо было готовить к поступлению в институт, и мне наняли гувернантку. Когда мне минуло 10 лет, меня определили в Павловский институт, что на Знаменской улице, куда свез меня мой отец, и, благословив, оставил в неутешных слезах и рыданиях. Мысль о том, что на несколько лет разлучили меня с родительским кровом, с их ласками, особенно с нежно любящей матерью, которая и сама до такой степени была расстроена этой разлукой, что не имела силы проводить меня в институт, мысль об этом и воспоминание всего невозвратно прошедшего дорогого сердцу не давали мне покоя, не давали возможности заняться учением. Только благодаря богатым способностям, с большим усилием, я, прочитав хотя однажды заданные уроки, отвечала их и следовала за классом. Скоро, впрочем, мой детский организм надломился, сделались у меня сильнейшие головные боли, затем воспаление глаз, и я совсем ослепла. Меня, конечно, положили в лазарет; новая беда удвоила скорби, я продолжала плакать и плакать безутешно. От этого ли, или от оплошности институтского врача (не глазного) воспаление глаз перешло в бельма, и я окончательно, совершенно лишилась зрения. Мне стали сводить эти бельма ляписом, что причиняло ужасную боль и страдания, а облегчения - ни малейшего.

Родителям моим, которые с наступлением весны уехали в свою усадьбу, не давали почему-то знать о случившемся со мной, а сама я писать не могла, таким образом, страдания мои и слепота моя продолжались до осени. Наконец, приехал в лазарет глазной доктор Денеске и, нашед лечение неправильным, посоветовал поместить меня в глазную лечебницу, находившуюся под его ведением, куда меня и поместили.

Впрочем, и там я не получала ни малейшего облегчения; не могу сказать, сколько именно времени я там пробыла, но о помещении моем туда дали знать родителям, которые тотчас же приехали за мной и, исхлопотав, чтобы вакансия моя не была замещена другой воспитанницей, взяли меня из института впредь до излечения и увезли в усадьбу. Привезли меня туда совершенно слепую, не видевшую даже солнечных лучей. Способ лечения, которым пользовали меня врачи, был совершенно оставлен, и меня стали лечить более домашними средствами, а главное - воздухом, меня почти не пускали в комнаты в течение целого дня. По той ли, или иной причине, но не прошло и трех месяцев, как я снова увидела свет, и зрение мое стало быстро возвращаться, так что в конце того же года меня уже привезли обратно в институт; я видела довольно хорошо и могла заниматься, хотя, впрочем, при свете ламп очень затруднялась читать и писать, что и осталось моим достоянием на всю мою дальнейшую жизнь, и по сие время я страдаю слабостью зрения и с трудом занимаюсь при огне. Но, слава Богу и за такое излечение, не многим слепцам достается на долю совершенное прозрение. В институте потекла моя жизнь своим обычным порядком, с той только разницей, что лишившись навсегда хорошего зрения, я, при малейшем напряжении его при занятиях, рисковала повредить и последнее, да мне и запрещали заниматься по вечерам.

Впрочем, это не препятствовало мне не только следовать вместе с классом, но и быть одной из самых лучших учениц; Господь, лишив меня внешнего зрения, в то же время просвещал более мои понятия и память, которые значительно развились от того, что в силу необходимости делались они основанием всего дела моего обучения, а не книги и тетради.

В то время между нашими учителями существовал следующий способ преподавания: спросив заданный урок у некоторых из воспитанниц, учитель приступал к разъяснению следующего урока, и это разъяснение давал гораздо более подробно, чем в книге; тем, кто более и точнее усвоит и передаст эти подробности, прибавлялись баллы. Не надеясь на помощь книги, я напрягала все свое внимание на рассказ учителя и, благодаря памяти, усваивала его почти слово в слово, затем по просьбе подруг повторяла им неоднократно одно и то же, а через это твердо и неизменно заучивала все пройденное. Меня прозвали "слепой мудрец", хотя я и не была ни слепа, ни мудра, но эта кличка сопровождала меня во все время моего воспитания. Да и не одна эта, и много кличек или названий присвоилось мне, как обычно во всех казенных заведениях дают их друг другу; меня называли еще "монахиней", "игуменией", а когда кому в чем-либо не ужоу, то и "святошей", но все эти наименования сводились к одной характеристике моего религиозного настроения. Это настроение было как бы прирожденным, но оно вошло в более полную силу, когда мне было 12 лет, после следующего обстоятельства.

Когда я была еще в шестом (то есть во втором от младшего) классе, у нас в институте случилась эпидемия - корь, уложившая в постели почти все младшие и часть старших классов воспитанниц. Это было весной, наступал Великий пост. Не только все огромное помещение лазарета было переполнено больными, но и более просторные дортуары были заняты ими. Между прочим, корь посетила и меня, и в такой сильной степени, что меня положили в лазарет в "трудное" отделение, где и днем не поднимались густо-зеленые шторы на окнах, где в целодневном полумраке мы лежали, действительно, полуживые от осложнившейся болезни. Наступала Страстная седмица, а за ней и св. Пасха; мы сознавали великость и торжественность дней, и это сознание увеличивало тоску. Но вот наступила и Светлая ночь на Великий Христов День, Не помню ничего особенного о том, как я с вечера заснула, только среди ночи я была разбужена слышанием какого-то шороха. Проснувшись, стала прислушиваться, - слышу шорох какой-то необычайный, как будто шелест крыльев птицы. Открываю глаза и в удивлении вижу совершенно ясно и очевидно, среди полнейшей ночной темноты, какое-то существо солнцеобразно светлое, крылатое, летающее под потолком и повторяющее человеческим голосом слова: "Христос воскрес! Христос воскрес!" Какого вида было это существо, я не могу сказать ничего, кроме виденной как бы детской головки между двумя крылышками. О, какую неземную радость почувствовала и моя детская душа! Точно влилось в нее что-то дотоле ей неведомое, сладкое, овладевшее ею всецело. Я села на своей постельке и так внимала летающему, точно бы он именно ко мне прилетел, меня и приветствовал. Долго ли продолжалось это мое наслаждение, я не могу сказать, но оно было прервано подошедшей ко мне дежурной горничной, которая, заметив, что я сижу, поспешила уложить меня. Я снова уснула под впечатлением сладкого чувства, но с ним же опять и пробудилась наутро, причем мне вспомнилось все виденное и слышанное, а чувство, поселившееся при этом в душу, уже никогда не оставляло ее и словно положило в ней начало чему-то новому и таинственному, что и для меня самой до времени не было ясно.

Затем я выздоровела, вышла из лазарета в классы, по-прежнему начала заниматься, и жизнь среди сверстниц пошла своим обычным порядком, но в глубине моего сердца словно таилась какая-то затепливавшаяся искорка, как бы выжидая лишь случая разгореться ярче и свободнее. Если признать это дело Божиим, то можно сказать, что Господь и не замедлил разжечь эту искру в более сильный огонь Его Божественной любви.

III

По существовавшему в институте правилу, все воспитанницы обязательно говели в течение Великого поста на первой, четвертой и седьмой неделях. Но так как в этот год, как я

упоминала, почти половина воспитанниц были больны корью, продолжавшейся всю весну, то нам и не пришлось говеть Великим постом, а вместо того все мы, по распоряжению начальства, исполнили этот долг Успенским постом, в конце каникул, продолжавшихся всегда до 16-го августа. Вместе со всеми говела и я, и 15-го августа причастилась Св. Тайн. После причащения, в ночь на 16-е августа, я видела чудное видение, положившее решительный и окончательный переворот на всю мою жизнь, или, иначе сказать, составившее и указавшее мне мое призвание.

Виделось мне, что я стою в поле, покрытом зеленой травой, стою на коленях и молюсь Богу. Передо мной, то есть с той стороны, куда я была обращена лицом, поле окаймлялось лесом, а позади не более саженой пяти от меня, протекала длинная речка, на противоположном берегу которой был расположен большой, шумный город, который я принимала за Петербург, так как никакого другого города в то время еще не видала. Оттуда доносился до меня шум и стук, и крик, и говор. И как я была довольна, что ушла отсюда на этот берег, в это тихое, уединенное поле! Вдруг я стала подыматься от земли, ни мало не изменяя своего положения, то есть колени мои не разгибались, ноги не опускались, хотя и теряли под собой опору, то есть землю, я летела все выше и выше, хотя и не безостановочно, ибо среди полета кверху иногда и спускалась немного, но потом снова поднималась и, наконец, высоко-высоко поднявшись, остановилась. Тут я увидела себя в каком-то ином мире, как мне думалось, - на небе, неизъяснимо сладкое чувство наполнило мою душу - там было так светло, чудно хорошо, что я не берусь и не в силах описать.

Почти совсем передо мной я видела бесчисленное множество людей, стоявших длинными рядами, в несколько рядов, так что и конца не было этим рядам; все они были по форме своих тел одинаковы, только не таковы были эти тела, как наши земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые, и настолько прозрачны, что сквозь каждого можно было видеть стоявшего позади него, и так до конца этих бесчисленных рядов; только цвет, или оттенок этих сквозных тел был не одинаков, подобно тому, как и облака бывают на небе не одинакового цвета: иные желтоватее, иные краснее, голубее, белее, серее и так далее, только все сквозны, легки и прозрачны. Поднявшись неведомой мне силой, я остановилась прямо против первого ряда с правого его конца, в том же своем молитвенном положении на коленях, и во все время видения не шевельнулась с места, но и с этого видела многое, многое.

Видя эти чудные тела, я подумала о себе: не такова ли стала и я. Но нет, взглянув на себя, я увидела, что ничуть не изменила не только вида, но даже и положения, что все в том же своем институтском платье продолжаю стоять на коленях в воздушном пространстве. В момент, когда я взглянула на себя, я невольно взглянула вниз и там увидела землю далеко-далеко внизу; она казалась мне какой-то весьма малой выпуклостью, черневшейся в пустом пространстве; оттуда донеслись до моего слуха какие-то неопределенные звуки смешанных рыданий, крика, смеха и тому подобные, и хотя это длилось не более секунды, пока я лишь взглянула на себя, но мне стало жутко воспоминание о земле, и я поспешила к чудному небесному зрелищу. Что касается виденных мной Святых, то относительно того (как меня однажды спросили), в одежде ли они были или без нее, я определить не берусь. Тогда мне и на мысль не пришло этого вопроса, теперь я не помню, скажу только, что если и в одежде, то значит, и одежда была сквозная, потому что я хорошо видела самые задние ряды сквозь передние, и там все было сквозно, прозрачно, светло, ни малейшей дебелисти, вещественности.

Все эти святые стояли, как бы в два лика, то есть их длинные ряды, тянувшиеся в бесконечную даль, как мне казалось, делились на два лика, так что между этими двумя ликами образовывалось пустое светлое пространство, наподобие какого-то коридора. Я, как

упоминала, была поставлена против самого первого ряда левого лика с правой его руки, где начинался этот первый ряд, так что очень ясно было видно и другой правый от меня лик, и пустое это между ними пространство.

Все они пели, то попеременно, то все вместе, и когда они начинали петь, то изо рта каждого из них выдыхалась как бы струя какого-то аромата, наподобие того, как выходит фимиам из кадильницы, но эта струя не останавливалась и не разливалась тут же, а поднималась выше, так что лишь в воздухе клубился и разливался этот аромат и своей густотой не застилал Святых. Что именно они пели, я не знаю, только так хорошо, что я не могу и высказать.

Стоя у самого начала этих двух ликов и образуемого между ними пространства пустого, я беспрепятственно смотрела вдаль, где мне казалось все светлее и светлее (не знаю, так ли это было в действительности, или мне только казалось), я думала, что, вероятно, там самый Престол Бога, Источника Света, и что Он там и находится. В эту минуту, как только я это помыслила, вижу, что ко мне приближается один из Святых и отвечает прямо на мою мысль: "Ты хочешь видеть Господа? Для этого не требуется идти никуда, ни в то дальней пространство, Господь здесь везде, Он всегда с нами, и подле тебя!" Пока он говорил мне это, я подумала: "Кто это такой и почему и как узнал он мои мысли, не вполне ясные и для меня самой?" И это не укрылось от него, окончив свою речь о присутствии Бога, он продолжал, как бы в ответ на мою последнюю мысль: "Я - Евангелист Матфей!" Не успел он окончить эти слова, как я увидела подле себя по правую сторону обращенного ко мне лицом Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно мне начать изображать подобие Его Божественного вида, знаю, что ничто, никакое слово, не может выразить сего, и боюсь, чтобы немощное слово не умалило Великого. Не только описать, но вспомнить не могу без особенного чувства умиления, трепета, этого Божественного, Величественного вида Сладчайшего Господа. Десятки лет миновали со дня видения, но оно живо и неизгладимо хранится в душе моей! Величественно чудно стоял Он передо мной. Весь стан Его или, иначе сказать, все тело было как бы из солнца или, сказать наоборот, само солнце в форме человеческой тела; сзади, через левое плечо, перекидывалась пурпуровая мантия, или пелена, наподобие того, как изображается на иконах, только мантия эта не была вещественная, из какой-либо ткани (там не было ничего вещественного), как бы из пурпуровой, огненной зари наподобие того, как мы видим иногда вечернюю огненную зарю на горизонте. Спускаясь наперед через левое плечо, она покрывала собой левую половину груди, весь стан и, наискось спускаясь по ножкам, покрывала их немного ниже колен и взвивалась по правую сторону, как бы колеблемая воздухом в воздушном пространстве, среди коего и стоял Господь. Правая рука, как и правая сторона груди были не покрыты мантией и оставались, как и ножки, солнцеобразными; стопы, совершенно как человеческие, носили следы язв, ясно видимых посреди солнцеобразной стопы; рук правая была опущена, и на ней виднелась такая же язва, левая рука была поднята, и, как мне помнится, Он ею опирался или держал большой деревянный крест, который единственный был из земного вещества, то есть из дерева. Глава Его, то есть лик, окаймлялся волосами, спускавшимися на плечи, но то были как бы лучи или нечто подобное, устремленное книзу и колеблемое тихим, легким веянием воздуха; черты Его лика я не разглядела, а возможно ли было это при таком сильном ослепительном сиянии? Помню только очи Его, чудно-голубые, точно в них-то и отражалось все небо голубое, они так милостиво, такой любовью устремлены были на меня! Увидев, приблизительно в таком образе, Господа, я вся как-то исчезла в избытке сладостного восторга и благоговения, о каком-либо чувстве страха и речи быть не могло, любовь, бесконечная святая любовь объела все мое существо. Не знаю, долго ли я наслаждалась этим пресладким лицезрением Господа,

но, наконец, бросилась Ему в ноги и простерла руки, чтобы обнять их и облобызать Его стопы. Сделала я Это как бы вне себя, от избытка охватившего меня чувства. Но Он не допустил меня прикоснуться к Его стопам, Он простер Свою десницу, бывшую опущенной, и, дотронувшись до темени моей головы, сказал: "Еще не время". От этого чудного прикосновения, от этого пресладкого гласа я совершенно исчезла, и, если бы в ту же минуту не пробудилась, думаю, - душа моя не осталась бы во мне. Я пробудилась, но я не сознавала вполне что со мной, следы всего виденного и слышанного были еще так живы, голова еще как бы продолжала ощущать Божественное прикосновение и пресладкие слова все еще слышались мне. Вся подушка, на которой я лежала, и вся грудь моя были смочены слезами, которые я проливала, вероятно во время видения, во сне. Я села на своей койке и мало-помалу начала сознавать, что была не в здешнем мире и вот вернулась опять, проснувшись. О, как не хотелось мне сознать эту действительность, то есть что я проснулась снова для обыденной земной жизни. Не выпуская ни на мгновение из памяти виденного, я даже силилась снова заснуть, воображая, что этим продолжу видение, но все напрасно, и, наконец, сознала, что видение кончено, и, как сказано мне, теперь "еще не время" переселиться в ту блаженную страну. Я раскрыла глаза, полные слез - как мрачно показалось мне все, как грустно, но я утешалась хотя тем, что все воспитанницы спали, кругом полная тишина, и я могу дать себе свободу и плакать и молиться, никто не видал меня.

Долго, долго я всецело отдавалась своим воспоминаниям и размышлениям, с благоговением я дотрагивалась до темени головы моей, и оно казалось мне священным, с радостью вспоминала я слова Спасителя "еще не время", толкуя их себе так, что, значит, будет же время, когда я снова узрю Его, и уже не возбранит Он мне припасть к Его Божественным стопам и облобызать их. Наконец, боясь быть замеченной, я потихоньку встала, оделась, умылась и, вышед осторожно из дортуара, направилась к дверям церкви (на паперть), которые были двойные; первые - глухие деревянные, и они никогда не запирались на замок, а вторые - со стеклами, всегда бывшие запертыми. Пространство между обеими этими дверями было довольно широкое, на этот раз оно оказалось мне спасительным убежищем, я знала, что тут меня никто не увидит. Страх, при полном ночном мраке среди бесконечных институтских коридоров и лестниц, именно тут на паперти оканчивавшихся со всех четырех этажей, мне не приходил на мысль. Я радовалась своему убежищу, и незаметно скоро пролетело для меня все остальное время ночи. Но вот раздался звонок воспитанницам вставать, зная, что не замедлит через час последовать и второй звонок на молитву, я содрогнулась при мысли о том, как выйду, что скажу, как вступлю в обычную колею жизни и т. под. И не ошиблась. Лишь только со вторым звонком я вышла из своего убежища, меня окружили воспитанницы, осаждавшие меня вопросами: Где была, что с тобой, отчего ты так заплакана?" и проч. Мое молчание возбуждало еще большее любопытство. Не только дети-подруги, но и дежурная классная дама подошла ко мне с теми же вопросами. Вместо ответа я только разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что никому, кроме нашего священника, а солгать что-нибудь я не могла, да и вообще говорить не чувствовала в себе силы. Наконец понемножку меня оставили в покое. Когда после молитвы и после чая все вошли в класс, я попросила свою классную даму разрешения остаться в коридоре и дожждаться батюшку, чтобы сказать ему несколько слов. Она мне это позволила. Когда я рассказала ему все, он поцеловал меня в голову, и сказал: "Это твое призвание, храни эту тайну, а Господь Сам довершит Свое дело." После этого мне стало как-то легче возвращаться с людьми; но переворот уже был сделан на всю жизнь. Я чувствовала какую-то тесноту души, сознавала, что не могу жить общепринятым образом жизни; ко всему чувствовала равнодушие, ничто, ничто не привлекало меня, напротив, все больше и больше отталкивало.

Только мои недюжинные способности давали мне возможность хорошо заниматься и даже быть всегда одной из первых. Любовь же моя и внимание все сосредоточилось на Евангелии. Случалось иногда принимать участие и в увеселениях, хотя, конечно, я не находила в них никакого удовольствия, но, не смея уклоняться от общего дела, невольно принимала в них участие; при этом я настолько конфузилась и стеснялась даже самой себя, вспоминая виденную мной красоту небесную и ощущая истинную сладость духовных наслаждений, что делалась совершенно неспособной ни к танцам, ни к спектаклям, ни к чему подобному, путалась, терялась иногда даже до слез, что, конечно, возбуждало всеобщее удивление и даже смех. В старейших классах эти увеселения принимали более широкий размер, но тут Сам Господь как бы стал охранять и отстранять меня: как только начинались танцы, у меня начиналось головокружение, я бледнела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконец меня освободили от участия в подобных вечерах, и даже от уроков танцев. Оставшись одна в классной комнате, в то время как все уйдут танцевать на вечер в приемный зал, я занималась чтением духовных книг, или молилась за моих подруг, которые, как мне казалось, небезгрешны были в их стремлении и любви к увеселениям. Сама не понимаю, откуда у меня рождались такие мысли и взгляды, - никто мне этого не внушал, напротив: меня осуждали за это и называли "странной", нигде я ничего подобного не читала, и воспитывали меня вполне светски, а не духовно. Мне же все хотелось молиться, поститься, а когда случалось мне по молодости или по чужим наветам отвлечься от этих моих правил, то я пугалась этого, как большого греха и удваивала пост и молитву. Понятно, что настоящего поста, то есть, постной пищи я не могла держаться, но понимая, что пост, то есть воздержание, состоит более в количестве, чем в качестве пищи, я лишала себя более сытных и более сладких блюд, отдавая их тем из воспитанниц своего курса, которые, не имея родственников, были лишены возможности получать от них гостинцы и лакомства.

Случалось, что мне и самой хотелось иногда съесть что-либо такое; в виду этого, чтобы не дать себе возможности нарушить предпринятый порядок, отступить от правил поста, а с другой стороны, чтобы не лишиться себя случая оказать любовь бедной сироте, я нарочно заранее давала им обещание того или другого кушанья или лакомства, прося напомнить мне тогда, когда оно будет предложено в столовой.

Хотя все это я всегда старалась мотивировать словом, что я "этого не люблю", или "это мне вредно", но иногда как-то разгадывали мое намерение. наших горничных девушек стали учить грамоте, Священной Истории и молитвам; им задавали уроки, которые иногда твердили они по вечерам, уложивши воспитанниц в постели. Многие из нас помогали девушкам (только потихоньку от классных дам, оберегавших наши силы). Подметив лень или бестолковость со стороны одной горничной, моей ученицы, я стала оставлять для нее свои сухари и булки от вечернего чая, что и отдавала ей, когда она хорошо училась, и это, действительно, имело влияние. В течение Великого поста нам давали постный стол лишь на тех неделях, когда говели воспитанницы, то есть на первой, четвертой и седьмой, на остальных неделях - только в среды и пятницы. Иные воспитанницы старшего отделения (в числе их и я) брали на себя решимость соблюдать пост в течение всех семи недель, причем приходилось нам довольствоваться иногда в течение нескольких дней, вместо обеда и ужина, одним черным хлебом, причем требовалось сохранять это в строгой тайне от надзирательниц, почему мы всегда брали себе свои порции и делали вид, что вкушаем, а затем спроваживали тарелку по назначению; впрочем классные дамы французского дежурства, будучи все русские, православные, хотя и знали наши проделки, но не доказывали этого, только иногда шутливым образом погрозят пальцем, или покачают головой "мнимой постнице"; зато уж немецкого дежурства дамы-немки немилосердно преследовали нас,

иногда даже совершенно пресекая наш пост, заставляли тут же при себе есть мясную пищу, не разбирая ни дней, ни недели. В такой борьбе и в таких лишениях мы (то есть некоторые, весьма немногие воспитанницы) проводили весь пост; впрочем, добровольно никогда не уступая никаким препятствиям, ни соблазнам.

По мере приближения нашего к старшему, выпускному курсу, как-то более ощущалась самостоятельность, и словно бы ширились права нашей свободы, хотя, в сущности, мы до последней минуты своего пребывания в институте оставались всесторонне подвластными заключенницами его, обязанными строго хранить все его правила и предписания. Но в старшем курсе мы уже более предоставлялись самим себе, классные дамы наблюдали за нами как бы издали, лишь для порядка, а в более мелкие детали нашей жизни даже и не входили, но мы и не злоупотребляли этим, будучи всецело заняты приготовлением к последним, так называемым, "публичным экзаменам", на другой же день после которых мы готовились вступить на порог жизни самостоятельной, светской, свободной. Кто готовился сряду же по окончании курса взять на себя нелегкий труд преподавательницы и прямо с беззаботной скамьи института путем многозаботливой обязанности снискивать средства к жизни; иные, как дети более достаточных родителей, мечтали о предстоящих им удовольствиях "на свободе светской веселой жизни". Какие же мысли и чувства наполняли мою душу по поводу предстоящего мне оставления института? - Ни те, ни другие из вышеприведенных. Я знала, что мне не придется своими трудами добывать средства к существованию, знала, что выхожу под кров родительского дома, в теплые объятия материнской нежности и любви отца. Но этого-то последнего я и страшилась, ясно понимая, что оно-то и сделается для меня преградой в моих стремлениях осуществить мысль, которую я лелеяла в течение шести лет, получив на то указание свыше. Вернусь несколько назад: я уже говорила, что, обладая блистательными способностями и завидной памятью (дававшей мне возможность не только усваивать учимое, но и отвечать безошибочно длинные стихотворения, прочитав их раза два-три, причем требовалось от меня лишь особенно напряженное внимание), - я училась легко и всегда была если не первая, то вторая ученица в классе; скажу при этом, что давалось мне это счастье, думаю, исключительно благодаря способностям, хотя, правда и то, что я занималась всегда прилежно и усердно; но так как все мое внимание сосредоточивалось главным образом на всем духовном и религиозном, то не знаю, успевала ли бы я в науках так же быстро, если бы изучение их стоило мне труда и усидчивости. Я всегда имела много свободного времени, которое, согласно своему произволу, могла посвящать чтению духовных книг, самовниманию, размышлению о тех духовных событиях, которые более меня интересовали, даже нередко удовлетворяла чувству потребности излагать свои собственные впечатления на бумаге, и никто меня за это не преследовал, не запрещал, так как и классные дамы наши вполне были уверены, что уроки свои я приготовила, а лишнее время отдавалось всецело нашему собственному произволу.

IV

По мере моего возраста и развития возрастали и развивались и мои религиозные потребности; меня уже не стало довольствовать одно чтение духовных книг, тем более, что у меня их было очень немного, и в моем затворе я не имела возможности достать их более, или именно тех, каких мне хотелось. Самая любимая моя и самая дорогая книга была святое Евангелие; в его словах я чувствовала не только сладость и утешение души, но и какую-то потребность ежеминутного неразлучного с ним пребывания, а так как это было неудобно и невозможно, то я принялась изучать его наизусть.

Благодаря моей памяти, это мне было вовсе не трудно, и я скоро заучила на память славянским текстом слово в слово все евангельские события и учения у тех Евангелистов, где

они излагались подробнее. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по Закону Божию, то сама начальница института баронесса Фредерике представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной Академии, впоследствии митрополиту Московскому и Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю все Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова главы четырнадцатую, пятнадцатую и далее, прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память, начав с места: "Ведий Иисус, яко вся предаде Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде и к Богу грядет..." (Ин.13, 3). Владыка, а с ним и все прочие присутствовавшие на экзамене слушали с большим вниманием, и никто не перебил меня ни одним вопросом. Когда я закончила, остановившись на последних словах четырнадцатой главы "восстаните, идем отсюда", Владыка Иоанникий спросил меня: "Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки - явление необычайное." Я отвечала ему по чистой совести всю правду, ибо иного не сумела сказать: "Каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе, а так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне в моей памяти." Все присутствовавшие переглянулись между собой, но никто мне не возразил ничего, а Владыка продолжал: "Не можете ли вы сказать, что предложил Спаситель юноше, искавшему получить жизнь вечную?" Я ответила кратко. Он предложил мне рассказать словами Евангелия всю эту историю, что я и исполнила, начав со слов Евангелиста Матфея "се един некий рече Ему" из девятнадцатой главы, и далее до стиха двадцать седьмого (Мф. 19, 16-27). Когда я окончила, Владыка вдруг сказал, как бы сбивая меня: "Вот вы говорите, что для достижения совершенства Господь предложил не иное что, как "раздать имение нищим"; хорошо, я раздал нищим, вы раздадите нищим, вот они сделают так же, - что же выйдет? Нищие нашими именьями обогатятся, а мы обнищаем; какое же тут совершенство?" Я объяснила, насколько умела, что эта заповедь не обязательна для всех, а только для предпринимающих совершенный, т.е. отличный от мирского, образ жизни, - нищета ради Христа и т.д... Владыка остался доволен ответами и уже более не спрашивал.

По окончании молитвы он подозвал меня к себе, благословив меня, он положил мне на голову свою правую руку и, держа ее, произнес: "Бог не оставит Своего дела! - Ихже избра, тех и оправдает и направит на путь спасения вечного." Затем он милостиво расспрашивал меня о том, есть ли у меня родители, какой образ жизни думаю я предпринять, и с отеческой любовью простился со мной. На следующий день он прислал мне чрез нашего священника книгу с его надписью, - эта книга по сие время у меня сохраняется. Вслед за экзаменом по Закону Божию, с некоторыми промежутками для приготовления, производились и другие по всем предметам, пройденным нами во весь семилетний курс образования.

Между тем еще за месяц до назначенного для выпуска нашего дня, нам уже объявили его, с приказанием просить родителей и родственников озаботиться приготовить нам форменные для дня акта и выхода из института белые платья, и другие необходимые для нас платья, и т.п.; для этого наши маменьки и родственницы могли являться к нам не только в обычные приемные часы, а когда для кого удобнее и нужнее, и притом с портнихами и мастерицами. По мере приближения этого рокового времени, времени для нас всех, конечно, и торжественного, и вожделенного, трепетало мое сердце при мысли о том, какое-то сочувствие со стороны родителей встретит мое настроение души и найдет ли желаемый исход мое стремление в монастырь. Во время пребывания моего в институте, родители мои переселились совсем в свою усадьбу, находившуюся в Боровичском уезде, Новгородской губернии. Отец, совершав многократно кругосветные плавания, простудился и получил

чахотку, которая в его. года приняла длительный характер и постепенно изнуряла его силы и здоровье. Он вышел в отставку в чине полковника (капитана 1-го ранга) с большим окладом пенсии и эмеритурой. За два или за три года до моего выхода из института переехал к ним же в усадьбу и старик - воспитатель моей матери, и сначала жил с ними в усадьбе, а затем, как привыкший жить в большом свете, иметь большой круг знакомых, соскучился в деревне, в тишине, и купил себе дом в г. Боровичах, куда и поселился на жительство. Но не долго пришлось ему пожить в своем новом жилище: удрученный годами (не болезнями, ибо он был весьма крепкого сложения и завидного здоровья), он скончался на 107-ом году своей долголетней жизни, пролежав перед этим в постели лишь два дня; перед кончиной он, в совершенно здоровом рассудке и твердой памяти, сделал духовное завещание на меня, отказав мне именно все свое движимое и недвижимое имущество и этот недавно купленный дом, и деньги, наличные и находившиеся в долгах по векселям у разных лиц. Так как я была еще в институте, то и назначил он надо мной опекуншей мою мать. Обо всем этом писала мне моя мать своевременно, поздравляя с нескладным наследством, которое составляло исключительно мою собственность, не так, как родовые имения отца, подлежащие разделу между всеми тремя детьми его, кроме меня, еще братом и сестрой.

Прибыв к назначенному времени в Петербург для взятия меня из института, она с искренней радостью уже словесно подробно сообщала мне все это, надеясь привести в восторг мое еще почти детское воображение, как с малолетства заключенной и безвыходно пробывшей семь лет в стенах училища, не видевшей никакой роскоши и не имевшей еще никакой собственности, кроме книг да тетрадей. Каково же было ее удивление, когда она не нашла не только никакого восхищения, но, напротив, встретила равнодушие и даже, как казалось ей, неудовольствие.

Она спросила меня, неужели меня не радует ее рассказ о получении такого наследства. Я старалась успокоить ее и отвечала, что очень радует, и я очень благодарна покойному дедушке. Но сердце материнское чутко; она, видимо, опечалилась и, как будто недовольная мной, невольно высказала: "Что с тобой, Машенька? Ты точно всех нас разлюбила, или уже ты такая серьезная стала?" Мне стало жаль ее, я бросилась в ее объятия, крепко ласкалась, уверяя, что все так же горячо люблю ее, более всех, обе мы плакали слезами родственной любви, но слезы эти были совсем различных характеров, и мы не поняли друг друга. Прощаясь со мной, она обещалась на следующий раз приехать с портнихой для приготовления форменного выпускного платья и других необходимых вещей. Расставаясь с ней, я глубоко задумалась, да и было о чем задуматься. Я видела и чувствовала, что дорогая и добрейшая мать моя, для которой в младенчестве и отрочестве моем я служила единственным утешением (как о том упоминала выше), все годы нашей с ней разлуки лелеяла в сердце своем одну отрадную надежду, что, по окончании мной курса, я снова буду для нее единственным утешением, единственным другом, поддержкой ее уже слабевших сил и здоровья, буду счастьем и гордостью ее и т. под., и что вдруг все эти сладкие мечты ее должны были разбиться, и кем же? Мной, ее безгранично любимой дочерью! Меня страшила мысль, что этим я сокращу ее жизнь, раньше времени оставлю малолетних птенцов, брата и сестру моих, без матери сиротами и т. под. Мне делалось жаль ее и всю семью нашу, я становилась в собственных глазах своих преступницей, я мучилась, терзалась душой, плакала, молилась, почти всю ту ночь провела без сна в подобных размышлениях, даже предлагала себе сдаться в своем намерении уйти в монастырь, но как только допускала эту последнюю мысль, так ощущала невыносимую скорбь и тяжесть и не могла не сознать, что это сделать недоступно для меня, что жизнь в свете будет для меня хуже и тягостнее заключения в темницу; в ужасном томлении и борьбе, я прижимала к себе иконочку Спасителя, образ

Которого, виденный мной на небе, живо вставал передо мной, и, трепещущими губами целуя иконочку, невольно вслух говорила: "Неужели я изменю Тебе, о Сладчайший Иисусе? Неужели любовь к матери, любовь земная победит любовь к Тебе? О, да не будет сего, никогда, никогда!" Такие и подобные сему ощущения и мысли томили меня и не давали мне покоя; между тем приближался день приезда матери, и я с трепетом ожидала его, словно бы на суд позвали меня. Я знала, что и мать моя не без тревоги, не без скорби оставила меня, и я понимала, что одна только откровенная беседа наша с матерью могла помочь нашему взаимному недоразумению. Но как сказать матери всю правду, - открыть ей мое видение, или мое призвание я не могла решиться: точно уста мои невольно запечатлевались о нем навсегда и пред всеми; иначе чем объясню ей мое стремление, какое основание покажу ему? А не видя ему основания, она сочтет это за мечту экзальтированного воображения, увлечение юности и т. под. и, разумеется, найдет нужным всеми силами противостоять ему, в надежде рано или поздно разбить эти мечты. Такое предположение мое оказалось чуть ли не пророчески верно, как окажут последствия.

Тем не менее, я решилась, с помощью Божией, понемногу готовить мать мою к предстоявшей ей со мной разлуке, как можно ласковее, постепенно ознакомляя ее с моим настроением души. На следующий же раз, когда она приехала ко мне, согласно своему намерению с портнихой, во время мерения и совещаний о платьях, я как бы к слову решилась ей сказать: "Мамочка, не делайте мне много платьев, думаю, они мне не понадобятся." - "Что это за странность, - возразила она, - в чем же ты будешь ходить?" - "Мамочка дорогая, - отвечала я, - не гневайтесь на меня; но я не могу не чувствовать, что не в состоянии буду жить в свете, я стремлюсь давно, и всей душой стремлюсь в монастырь." Мать моя, пораженная такой неожиданной новостью, как будто совсем смешалась, однако, овладев собой, строго произнесла: "Ну, мы это еще увидим, а пока, если ты не хочешь раньше времени меня уложить в гроб, не повторяй мне никогда этих слов." Я молча заплакала, не о том, что услышала такой отпор надежде на осуществление моих стремлений и идей, нет, - я была убеждена, что так или иначе, но исполнит их Господь, а заплакала невольно, предвидя, какой скорби и борьбы станет это дело, и хватит ли сил моих выдержать эту борьбу.

Когда представился мне удобный случай, я сообщила обо всем этом нашему духовному отцу и просила его совета и молитв. Он дал мне такой совет, какой вполне соответствовал моим собственным убеждениям: "Надо дать время; Господь Своего дела не оставит, - выразился он словами Владыки, - Он склонит и сердце матери дать свое благословение, а пока, помимо этого благословения, нельзя уйти в монастырь, иначе и Богу это не будет угодно." На основании такого решения, я уже более не упоминала матери о своем намерении, чтобы не раздражать ее, она и сама не начинала со мной об этом разговора, и как будто бы успокоилась, думая, что я, как послушная дочь, переменила свои мысли и намерения. Впрочем, она не забывала своей задачи - всеми мерами превратить мои направления и завлечь удовольствиями жизни светской.

Акт и выпуск наш из института состоялся 15-го декабря (тогда выпуски производились к Рождеству).

V

Приехав за мной из усадьбы, мать моя оставила там больного мужа своего, моего отца, двух малолетних детей - брата моего десяти лет и сестру семи лет, но, несмотря на это, она пробыла для меня со мной в Петербурге весь конец декабря и начало января месяца, чтобы, пользуясь святочным временем, познакомить меня со всякого рода увеселениями и рассеянностью столичной жизни, чем надеялась прельстить меня и отвлечь от религиозного настроения, которое не переставала приписывать юношескому увлечению среди

институтского затвора. Она вывозила меня всюду, куда лишь было можно и доступно: в театры, в оперы, на вечера и домашние спектакли, и, как мне казалось, более даже, чем бы позволяли наши средства, старалась, по ее мнению, доставлять мне удовольствия, чем, в сущности, только томила меня, вовсе не достигая своей цели. Говорю по чистой совести, что все эти столичные увеселения мне не только не нравились, но, напротив, казались мне пустыми, не могущими занять, заинтересовать внимание серьезного человека; а когда мне их навязывали насильно и часто, то мне они опротивели, надоедали, и душа моя сильно томила. Впрочем, несмотря на такое свое недружелюбное ко всему светскому отношение, я не доверяла себе: чувство, всаженное во мне Господом чрез бывшее (описанное) видение, было для меня слишком высоко, свято и дорого; изменить ему, забвением его хотя на минуту, казалось мне грехом неблагодарности к такому великому дарованию Божию; я хранила его в сердце, как святыню, и видя, как подруги и сверстницы мои увлекаются миром и его приманками, я боялась за себя, справедливо сознавая, что и я такая же слабая и немощная душой девушка, и что призвание мое есть не что иное, как дело Божие, а никак не мое, то есть не степень моего преуспевания; я хорошо помнила все обстоятельства, предшествовавшие тому чудному откровению, а потому не могла не видеть, что я сама лично тут не при чем. Поэтому, когда в силу обстоятельств поселялось в душе моей сравнительное равнодушие, или, иначе сказать, когда я видела безвыходность своего положения, и приходилось мириться с ним, я боялась, чтобы примирение не приняло настоящего значения и не поселило бы в душе моей охлаждения к религиозным стремлениям.

Получая частые письма из усадьбы о том, что, хотя там и все благополучно, но с величайшим нетерпением ожидают туда нас с матерью, я все же питала надежду, что скоро уедем из шумной столицы в мирную, уединенную деревню, где уже, конечно, образ жизни будет мне более по сердцу. Но, увы! - и в усадьбе ничто не приласкало моего сердца, ничто не ответило его стремлениям. Первое, что омрачило мои надежды, - это отсутствие храма Божия, который отстоял от нашей усадьбы на 4 версты; служба в этой церкви, как и во всех селах, совершалась лишь в воскресные и праздничные дни, но и какая была это служба в сравнении с той, к которой в столице привыкла я с детства, а потому и не допускала мысли, чтобы Богослужение могло совершаться иначе. Однако, в силу обстоятельств, я бы довольствовалась и этим, но, как я сказала, служба совершалась лишь в праздники, а и в праздники не всегда оказывалась возможность ехать в село.

Жизнь в деревне вообще оказалась вовсе не такой замкнутой, какой я ее себе рисовала: приехала я зимой, когда все помещики (которыми так небеден Боровичский уезд) были в своих усадьбах; все они жили как-то дружно, общительно, собираясь вместе то в одной, то в другой усадьбе, гостили друг у друга подолгу, к чему и самые помещения их усадеб были приспособлены, заключая в нижнем этаже, кроме комнат хозяев, несколько гостиных и зал, а в верхних этажах - отдельные номера для гостей, где они и располагались, как дома, гостя подолгу.

Как "новинка" появилась я в этом помещичьем мире: все взоры были обращены на меня, и я, "молоденькая институтка", сделалась предметом суждений и толков. Мать моя и тут сочла своей обязанностью "вывозить" меня, знакомить с соседними помещиками, у которых и мне приходилось гостить по несколько дней, особенно, когда в длинные зимние вечера устраивались в той или другой усадьбе спектакли (домашние), в которых приходилось участвовать и мне. От природы одаренная всякими способностями и ловкостью, я недурно исполняла достававшиеся мне роли, а это послужило причиной того, что почти ни один спектакль не устраивался без моего соучастия.

Таким образом прошел весь январь, февраль и Великий пост, - мы в церковь почти не

ездили, кроме редких праздников; но что за богомолье это было! Заранее уговорившись, поедem (напившись, конечно, чаю) целой кавалькадой, экипажей пять, шесть и более, с разговорами, шутками, даже смехом, приедem чуть не к концу Литургии, выступим вперед на левый клирос, да еще не сразу молиться примемcя, а начнем с поправления своих нарядов да причесок, затем установимcя на подносимые нам коврики, - глядишь, - и службы конец. Нечего делать, стыдно выходить, только что прибывши: закажем молебен, - да и обратно потянемcя прежним способом, лишь еще с большими шутками и остротами насчет сельских певчих или кого бы то ни было.

Дома нас встречал сытный лакомый завтрак, за ним опять праздное препровождение времени, и таким образом день за днем провела я первые три месяца по прибытии в усадьбу. Каким-то общим вихрем носило меня в этой пустоте, но тяжело было душе моей, особенно потому тяжело, что не могла я предвидеть никакого исхода из своего положения: на то была воля матери моей, полагавшей все счастье, как свое, так и мое, приблизительно в таком роде жизни, да, кажется, она надеялась скоро отдать меня замуж. Она часто заговаривала со мной то о том, то о другом из молодых людей, посещавших наш дом, или с которыми мне приходилось встречаться в других усадьбах. Когда я решалась говорить ей прямо, что хотя и все они хороши, но замуж я никогда ни за кого не пойду, то между нами возникала неприятность, иногда и очень крупная: я горько плакала, скорбела и едва не приходила в отчаяние. Мне даже иногда приходила мысль - бежать куда-нибудь в лес, бывший так недалеко от нашей усадьбы; но куда, когда я никуда дороги не знала, и каким способом устроить было это; - приходилось отказаться и от этой отрадной мысли.

Но вот наступило лето; праздная зимой жизнь помещиков сменилась заботливой, деятельной. Под предлогом ознакомления с сельским хозяйством, я стала проситься у матери ходить на полевые работы для наблюдения за ними; это мне было позволено. Взяв в карман Св. Евангелие или какую-либо священную книгу, я уходила в поле или лес, где в уединении читала или молилась в тайне сердца. Пламенная, слезна была моя молитва о том, чтобы Господь скорее извел меня из мирской суеты, которая все более и более становилась для меня несносна.

Более частые часы уединения и молитвы подкрепили мой упавший дух и надежду на милосердие Божие, а вместе и сообщили решимость твердо стоять в своем намерении и не поддаваться никаким соблазнам. Опасаясь, что с наступлением осени снова начнутcя прежние гостбища и праздности, я придумала следующий оборот своей жизни, для чего, впрочем, требовалась и маленькая хитрость, к которой я и прибегла.

VI

Я упоминала о том, что дед мой, скончавшийся незадолго до моего выхода из института, отказал мне по духовному завещанию все свое имущество, деньги и небольшой двухэтажный дом в г. Боровичах. Так как родители мои имели большое хозяйство в усадьбе, то жить в городе было для них неудобно, и домик мой отдавался в наем жильцам. Желая избавиться от праздной и суетной зимой деревенской жизни, я надумала просить родителей отпустить меня жить на зиму в город в свой домик, где бы и брат мой Костя, которому было уже одиннадцать лет, живучи со мной, мог удобнее заниматься уроками, подготовительно для поступления в корпус; заниматься с ним бралась я сама, а предметами военных наук могли бы заниматься учителя городских училищ.

Такое предложение одобрили родители; самым им оставить усадьбу на всю зиму было нельзя, почему они приискали в городе двух сестер из бедной дворянской фамилии Москвиных и поселили их бесплатно в моем домике, дав им в нем две комнаты в одной со мной квартире, в верхнем этаже; а внизу поселили прислугу нашу, состоявшую из целого

семейства: мужа, бывшего нашим дворником, жены-кухарки и дочери их, девицы лет 15-ти, сделавшейся моей горничной. В конце августа нас с братом Костей переселили в город. Я считала себя вполне счастливой, чувствуя свободу проводить время по своему желанию и стремлению. Город Боровичи, как и всякий уездный городок, не велик, и всякая новость быстро облетает его. Скоро стало известно, что наследница умершего генерала Василевского окончила уже курс воспитания в институте и поселилась здесь, в своем доме, вместе с братом, которого и приготавливает сама для поступления в корпус. В то время в Боровичах еще не было никакого общественного женского училища. В силу этого некоторые из граждан стали просить меня давать уроки их детям. Бели бы я склонилась на все такие просьбы, то у меня тотчас же образовался бы целый пансион; но, помня конечную цель всех своих стремлений, я боялась связать себя чем бы то ни было, и приняла лишь четырех: одного мальчика, как бы в товарищи брату, и трех девочек-дворянок.

Жившие со мной престарелые девицы Москвины смотрели на меня с полным уважением, и, не умею определить, в качестве кого жили они у меня; я представляла им, кроме квартиры с отоплением, и прислугу, и стол, и все, кроме чая, который, по разности наших занятий, и неудобно нам было иметь общий.

Вот какой образ жизни вела я, поселившись в городе. Ежедневно ходила к утрени в монастырь св. правед. Иакова Боровичского, находившийся на окраине нашего небольшого городка; иногда стояла там и ранние обедни, смотря по времени. Вернувшись из церкви, будила брата, приготавлила чай, и вместе с братом пили "по домашнему", что мне очень нравилось: я воображала себя хозяйкой. С 9 часов начинались занятия наши, продолжавшиеся до 12, после чего ученики мои расходились по домам, а мы с братом и с Москвиными садились завтракать все вместе; затем в 2 часа брат уходил к своему учителю, а я всецело принадлежала себе, - читала, работала, иногда с одной из жилищек выходила погулять, но в гости ни к кому никогда не ходила, хотя и многие о сем просили неоднократно. В 4 часа возвращался Костя, и опять всей семьей садились обедать; вечером иногда помогала я брату репетировать уроки, но каждый вечер заканчивался у нас общим семейным кружком за одной лампой с работами и книгами. Москвины были девицы благочестивые и тоже любили читать священные книги, которые и были у нас господствующими. Под праздники ходили ко всеобщей; и таким образом мирно, христиански текла наша жизнь. Денежные мои финансы все оставались на руках моей матери, которая весьма часто посещала нас; только зарабатываемые мной уроками деньги составляли мою собственность, которую я ей не отдавала и расходовала по своему желанию. Даже процент с капитала, оставленного мне дедушкой, мне она не давала, вероятно, употребляя его на наше же содержание, да мне и в голову никогда не приходило спрашивать о сем. А с меня-то, наоборот, спрашивали отчет даже в моих трудовых деньгах, которые, впрочем, у меня никогда не были подолгу. Сама же мать моя с раннего моего возраста приучала меня быть доброй и отзывчивой к бедным, помогать им хотя бы и последним, и это привилось мне, как оказалось, с первых же дней моей самостоятельной жизни; но тут она стала меня за это преследовать и запрещать давать милостыню, с каковой целью и не давала мне в руки денег. Но потребность души находила для себя исход: нередко, видя в лохмотьях и рубище нищих детей и женщин, я приводила их к себе в дом и отдавала свои платья и белье; хотя и старалась все это сделать потихоньку от всех, но как-то все узнавалось, и мне доставалось от матери и выговоров, и укоров. Никогда не забыть мне один, между прочим, следующий случай. Прибыл к нам в Боровичи с Афона иеромонах-сборщик с ковчегом с частицами св. мощей (от. Арсений); сбирая по городу, по домам, пришел он и ко мне; я не имела дать ему денег, кроме разве безделицы, и, не долго думая, вынула из ушей серьги и, подавая их ему, просила принять на украшение какой-либо

иконы или куда пригодятся. Этого не видал никто, и я предполагала, что так дело и кончилось. Вдруг, когда приехала мать моя из усадьбы, совершенно неожиданно спросила меня, указывая на мои уши: "А где же, Машенька, твои серьги?" Я ответила, что сняла их и убрала в комод, она приказала их показать ей; я стала рыться в комоде, ища, чего там не было, и, наконец, сказала, что не помню, куда убрала. Тогда она строго обличила меня во лжи и заключила страшными словами: "А чтобы ты не вздумала и еще раз проделать такую же жертву, пойди сейчас же, разыщи монаха и возьми свои серьги, сказав, что я этого требую, - ты еще молода и неразумна, не умеешь распоряжаться своими вещами." Можно себе представить, каково было для меня это приказание; но делать было нечего: я пошла по улицам города, впрочем, не только не разыскивая монаха, но даже избегая встречи людей, ибо у меня беспрестанно наворачивались слезы, и при первом слове я готова была разрыдаться. Я обошла много улиц и дошла до берега реки (Меты), где, к величайшему моему облегчению, увидела на пароме переправляющимся на ту сторону искомого монаха с его спутником; догадавшись, что они переправляются за город, я уже веселее пошла домой и объявила матери, что монахи уехали из города. Конечно, мать моя, думаю, и не вернула бы отданных серег, как бы ценны они ни были, она только хотела пострадать меня на будущее время. Такие и подобные тому случаи сильно огорчали меня, в этом я видела стеснение моей свободы в моих религиозно-нравственных стремлениях, и справедливо могла думать, что не освобожусь от такого стеснения до того времени, пока не уйду в монастырь.

VII

Единственным моим утешителем и советником являлся в то время игумен помянутого монастыря, о. Вениамин; весьма духовный и опытный старец, он поддерживал меня, и я нередко его посещала, но я то с большой осторожностью, чтобы и этого единственного утешения не лишили меня, запретив посещать его. Я открывала пред ним свою душу, рассказала о бывшем мне в отрочестве видении и о его последствиях - овладевшем всей моей душой стремлении к жизни духовной, иноческой, что при настоящем настроении моей матери казалось мне немыслимым в исполнении. Богомудрый старец-игумен утешал меня, подкреплял во мне веру и надежду в промышление о мне Самого призвавшего меня Господа, Который силен устроить все по Своей святой воле. По своему глубокому смирению он называл себя "недостаточным" и советовал мне познакомиться и побеседовать с настоятелем Иверского-Богородицкого монастыря, архимандритом Лаврентием, которого ожидали в Боровичи по причине пребывания тут в то время иконы Иверской Богоматери. Приезжая в Боровичи, о. Лаврентий всегда останавливался в монастыре у о. игумена Вениамина, который, вероятно, и сообщил ему обо мне, так что, когда, по обыкновению своему, пришла я к утрени в монастырь, то меня пригласили в кельи настоятеля, где я увидела обоих старцев, с отеческой любовью принявших меня и долго беседовавших со мной о духовных и высоких предметах. Эта первая моя (по времени) беседа в обществе двух столь духовных лиц глубоко запечатлелась в моей памяти, не только по своему содержанию, но и по скоро сбывшемуся предсказанию о. Лаврентия о том, что я буду скоро отпущена матерью в монастырь, и притом так, как и сама не ожидаю. Несбыточными казались мне эти слова, но я просила его, и он обещал мне молиться, чтобы они скорее осуществились.

Ноября 21-го, в день храмового праздника Боровичского собора, в городе бывает ярмарка. Накануне приехала моя мать; в это время я была одна дома, почему и встретила ее я одна; были сумерки; мы с ней вдвоем, напившись чаю, уселись рядом на диван, в ожидании благовеста ко всенощной, огня не зажигали, а буквально "сумерничали", разговаривая кое о чем. Сердце мое сжималось тоской, слезы катились сами собой, но, благодаря темноте, я не имела нужды скрывать их от матери. Впрочем, голос мой в ответах на обращения ко мне

матери выдал меня, и она спросила: "Ты, кажется, плачешь, что с тобой, что это значит?" И она с материнской лаской прижала мою голову к своей груди и поцеловала меня. Тут я уже не выдержала и зарыдала. Она продолжала расспрашивать и на молчание мое возразила: "Ты не любишь меня, не доверяешь мне, не хочешь признаться, о чем плачешь." Тогда, призвав в помощь Царицу Небесную, я начала: "Оттого-то и не решаюсь говорить Вам, мамочка, что люблю Вас и не хочу Вас оскорблять, особенно ради такого праздника, как завтра."

- Что же такое? - спросила она, - ты меня пугаешь, скажи скорей.

- Мамочка, завтра нашу Владычицу, Деву Марию повели и поселили в храме Божиим, а меня, бедную, ты не пускаешь идти по Ее стопам, не даешь служить Ей и Сыну Ее, к чему единственно я имею стремление, как ты и сама знаешь. Из послушания тебе, моя родная, я делаю все, что могу, все, чего ты желаешь от меня, но делаю все поневоле, мне трудно жить в мире, я томлюсь, как птичка в клетке, томлюсь, и Бог один видит, как страдает душа моя.

- Машенька, - возразила мать, - перестань, не говори больше.

- Не стану, мама, я и этого не сказала бы, если бы ты не принудила меня; я молчу и буду молча томиться, пока, наконец, не сведут меня в гроб эти постоянные томления духа, эта жизнь вечно вопреки своих стремлений, эта непосильная борьба.

Говоря это, я задыхалась от давивших меня слез.

После краткого молчания матушка ответила с той же нежностью, но с оттенком легкого упрека: "Я нисколько не желаю раньше времени, как ты выражаешься, сводить тебя в гроб; если тебе тяжело и так невыносимо жить с матерью, если не жаль оставить больного отца, малолетних детей - твоих брата и сестру, наконец, если и родной кров стал для тебя не дорог и не родной, - Бог с тобой, иди в монастырь, но помни и обдумай хорошенько - там ни матери родной, ни семьи родной, ни родного крова не найдешь никогда."

Ободренная ее ласковым тоном и хотя случайно высказанным согласием, я решилась ответить ей обстоятельно: "Все это - сущая правда, не раз мной обдуманная: ни матери родной, такой, как ты, моя золотая, дорогая мама, я никогда не найду, ни крова родного... Но что же мне с собой сделать? Какая-то более сильная, непреодолимая сила влечет меня в неизвестную для меня, и знаю, что нелегкую жизнь. Скорее же еще могла бы остановить меня мысль о больном отце и о детках наших, но и тут рассудим беспристрастно: болезнь отца хроническая, я не облегчу ее, тем более, что он охотно благословляет меня и ни мало не удерживает; брату моему я плохая учительница, ему предстоит корпус; сестра еще и мала для настоящего ученья, да и ее возьмут в институт на казенный счет; скажи же, мамочка, чего же я лишаю семью нашу, удаляясь от нее в монастырь? О,пусти меня, родная, я буду вечная ваша молитвенница." Она снова обняла меня и, целуя, сказала: "Если такова воля Божия - Христос с тобой." Я не верила своим ушам; я спешила закончить разговор и уйти в другую комнату, опасаясь, что она, раскаявшись в своих словах, откажется от них, и снова пуще прежнего станет удерживать меня. С каким, однако, облегченным сердцем молилась я за всеобщую в этот вечер; видела, что и матушка со слезами молилась все время Вернувшись домой, также и на следующий день, мы не возвращались к этому роковому для обеих нас разговору; с тем она и в усадьбу поехала. Я же поспешила в монастырь к своему отцу игумену Вениамину сообщить ему весь наш разговор, а также и мое опасение.

Опытный старец и на этот раз успокоил меня: "Что же вам до отказа ее (от своих слов), если бы он и последовал? Раз благословение дано, и держитесь за него, вспомните благословение Исааком Иакова, вызванное обманом, но имевшее всю силу святости и нерушимости, несмотря на все последующие просьбы изменить его; а вы не обманом, а слезами вымолили его, и оно почilo на вас, и никто не может снять его, даже она сама, если бы вздумала. Конечно, она попытается еще удерживать вас, готовьтесь ко всяким

искушениям, но будьте тверды и спокойны; да и что раньше времени тревожиться, - Бог начал, Бог и кончит." При этом, однако, он советовал мне не откладывать своего намерения и подумывать о том, каким путем удобнее разорвать все свои связи с миром, так как на этом пути, особенно когда он уже близится к цели, враг всеми мерами старается поставлять серьезные преграды, чтобы помешать делу.

Так как я давала уроки приходящим ко мне детям, то мне надлежало дожидаться того времени, когда они пред Рождественскими праздниками окончат занятия, и тогда я намеревалась поехать в Валдайский Иверский монастырь к о. архим. Лаврентию., принять его благословение и указание, как повести дела (ибо меня связывало еще доставшееся мне после деда имение), а также и поговорить и отдохнуть душой, укрепившись Св. Тайнами. Родители мои ничего не знали и не подозревали даже о моем тайном подготовке, иначе, конечно, матушка поспешила бы прервать все мои планы.

Наконец, наступила с таким нетерпением ожидаемая мной последняя неделя перед Рождеством, учениц своих я освободила от занятий, уволив их до 8 января, брату предложила уехать в усадьбу, сказав, что и сама на днях буду туда, Я и действительно имела намерение заехать туда путем в Ивер, так как усадьба наша была на пути, с полверсты лишь от большой дороги, да и уехать без ведома родителей я не могла и думать. Жутко, однако, мне было при мысли о том, как взглянет на это моя мать; не догадалась бы она о моем уже положенном решении покинуть их, к чему такого быстрого поворота она, как видно, и не ожидала.

Милосердный Господь и тут устроил все без особенных тревог и неприятностей. Кажется, 22 декабря я выехала из своего домика, еще в первый раз в жизни одна, и не на своих лошадях, а на нанятых ямщицких, в неуклюжих дорожных санях. Хотя мне предстояло проехать таким образом более семидесяти верст (от Боровичей до Валдая), но и тени страха или опасения не было в моей душе, напротив, она невыразимо радовалась, точно я ехала в Царство Небесное, к Самому Богу, а не в земную обитель.

Всецело углубленная в свои сладкие мечты, я не заметила, как мы проехали около восемнадцати верст, и вдали на горе влево от дороги виднелась уже наша усадьба; сердце мое забилося, радость сменилась смущением. Каково же было мое удивление и даже испуг, когда я встретила лицом к лицу ехавшую в Боровичи на паре своих, знакомых мне лошадок, мою матушку. Обе мы уставили глаза друг на друга. Ты словно испугалась меня, Машенька?" - сказала она мне, когда, поравнявшись на дороге, мы остановили лошадей. Она была совершенно уверена, что я ехала в усадьбу, почему сказала только: "Что же ты меня не дождалась, вот я еду за тобой да за кой-какими покупками к празднику." Тут я объяснила ей, что хотела только заехать в усадьбу, а еду далее в Ивер, чтобы там отдохнуть душой и помолиться в праздничное свободное для меня время. Краска выступила на лице ее, она, казалось, хотела многое сказать, но удержалась присутствием кучера и ямщика, и только с горечью сказала: "Ну, как знаешь." Мы расстались; я не ожидала такой скорой, хотя и не совсем приятной развязки, но, признаюсь, я ожидала худшего, боялась даже совершенной остановки моего преднамеренного путешествия, потом мне вздохнулось легко, когда, проводив глазами удалявшуюся матушку, я и сама тронулась далее в путь. Слезы наполнили глаза мои. "О чем я плачу?" - спрашивала я сама себя. О, как разнообразны причины этих слез. Еду, как беглянка, из собственного своего дома, из родной семьи; но и была ли когда-либо для меня "семья родная"? Была и есть она, но только по родству, а не по духу. Я только еще еду куда-то искать родной по духу семьи, но найду ли ее, и где найду, и когда еще найду? Еду, как преступница, от всех укрываясь, скрываясь, точно и самой себе страшась дать отчет в своих действиях; но какое преступление я совершила? Разве только, что самовольно

уезжаю, стремлюсь безотчетно, точно влекомая какой-то могучей силой, сама не знаю, куда, к чему-то высшему, идеальному, совершеннейшему. Но достигну ли сего? Вот родная мать от меня отвернулась, и я самовольно вырываюсь из ее объятий, между тем, как сейчас же готова броситься к ногам святого отца и в объятиях любвеобильной души его надеюсь найти покой своей душе, утружденной борьбой с ненавистным мне миром. Боже мой! Вот только год, как я вышла из института, только год, один год, а сколько я настрадалась, сколько должна была двоиться душой, чтобы "работать двум господам"; если и Сам Господь сказал, что это невозможно иначе, как "возлюбивши одного, другого возненавидеть", то чего же хотели от меня и за что меня обвиняют? И я всецело отдалась своим мыслям и воспоминаниям, но скорбь моя была не раздирающая сердце, а тихая, и даже благоговейная; совесть моя сказывала мне мою неповинность, а вера в мое призвание свыше внушала надежду на близкий исход.

VIII

Около вечерни приехали мы в Иверский монастырь и остановились в "дворянской гостинице". Я сряду же пошла к вечерне, после которой меня пригласил к себе о. архимандрит Лаврентий; но на этот раз мне не удалось побеседовать с ним по душе, так как я была не одна; я сказала ему только, что приехала к нему нарочно, чтобы переговорить с ним "о своем деле", а также, чтобы поговорить и отдохнуть душой. На следующий день о. Лаврентий снова пригласил меня и долго отечески беседовал со мной наедине. Я сообщила ему о случившемся накануне 21 ноября и о том, что о. игумен Вениамин советовал мне пользоваться этим как настоящим благословением, и, не теряя времени, заботиться о достижении преднамеренной цели, и что вот для этого именно я и приехала к нему в Ивер, чтобы спросить его указаний, как поступать и в какой именно монастырь направляться, так как я и понятия не имею о монастырях, нигде не бывала и ничего не знаю. Я предполагала, что он укажет мне только еще открывавшуюся тогда под его ведением неподалеку от Иверского монастыря общину, на родине Святителя Тихона, в селе Короцке, но он прямо отклонил эту мысль, сказав, что тут еще ничего нет, кроме неурядиц, а что нужно устроиться в настоящий старинный монастырь. "Впрочем, - заключил он, - теперь пока ни о чем же пецываете, Господь близ, Он Сам укажет и место, и путь к Нему, а теперь лишь помолитесь, поговорите, приобщитесь Св. Тайн, а там еще побеседуем и увидим". В сочельник Рождества служил сам о. архимандрит, от рук которого я приобщилась Св. Тайн. Напрасно было бы и говорить о том, какое дивное, умиленное чувство произвела на меня вся эта монастырская служба; на обоих клиросах пели не певчие, как я привыкла видеть, а седовласые почтенные старцы, многие из них - с наперсными золотыми крестами, часто оба клироса сходились на середине церкви и пели вместе; пение их какого-то особенного (киевского) напева, такое и торжественное, и умиленное; само Богослужение совершалось "соборне", а отец архимандрит Лаврентий служил со слезами благоговения, что после он сам объяснил мне, сказав: "Не помню, чтобы когда мне случилось литургисать без слез." Вот что еще произвело на меня сильное впечатление и осталось навсегда живо в моей памяти. После такой же торжественной соборной всенощной на самый праздник Рождества Христова, с крестами и хоругвями, двинулся крестным ходом весь собор священнослужителей в белых облачениях в сопровождении остальных монашествующих и всего народа из зимней церкви, где была служба, к летнему большому собору; двигались медленно, стройно, предшествуемые пением кондака: "Дева, днесь Пресущественнаго рождает..." при оглушительном трезвоне всех колоколов; когда вошли в собор, все остановились пред чудотворной иконой Богоматери, ярко освещенной множеством лампад; сперва одни священнослужители с зажженными свечами в руках пропели этот же кондак, затем повторили его дважды певчие, и стали

прикладываться к иконе Пречистой Девы, словно приветствуя Ее с всемирной чрез Нее радостью. Это я видела тогда в первый, но и в последний раз в жизни, больше нигде и никогда не приходилось мне сего видеть. На третий день праздника, 27 декабря, когда я после Литургии пришла к о. Лаврентию, он между прочим сказал мне: "Ну что, овца (овцой он назвал меня с первых дней нашего знакомства, ибо имел обычай давать прозвище своим близким духовным детям; так были у него: "хворушка" - княгиня С. Эристова, "цыпа" - В. Теглева, "Чернец", "Малюхонный" и пр.), - Ну что, овца, помолилась, поговела, обновилась, отдохнула душой, теперь можно и далее простираться, - вот тебе, кажется, и местечко Господь указывает!" В той же гостинице, где остановилась я, была одна послушница из Осташевского Знаменского монастыря; как оказалось, она совсем оставила свой монастырь и имела намерение переселиться в Тихвинский девичий монастырь, заехала лишь по пути в Ивер принять благословение на преднамеренное дело у общеуважаемого старца, о. архим. Лаврентия. Вот эту-то послушницу Параскеву Иванову и указал мне батюшка как спутницу, советуя с ней съездить в Тихвин, поклониться чудотворной иконе Тихвинской Богоматери, погостить в женском Введенском монастыре, приглядеться к жизни сестер и, если Бог расположит мое сердце, то и поговорить с матушкой игуменией о моем туда поступлении. С отеческим вниманием напутствовал меня святой старец, благословлял, ласкал, как родной отец, а спутнице моей (ей было уже за 40 лет) строго наказывал "беречь и охранять меня во все время пути", говоря, что Сам Бог для этого и привел ее сюда. На другой день вечером мы уже садились на станции Валдайке на железную дорогу до станции Чудово. Валдайка была лишь в десяти верстах от усадьбы моих родителей, которые и не воображали, что именно в этот вечер их родная дочь, находясь так еще близко от них, отъезжает далеко-далеко с намерением навсегда покинуть их, и что если она и вернется, то на самый краткий срок, чтобы только окончательно проститься с ними. Как раз в последний день года, декабря 31-го, в полдень мы въехали в городок Тихвин; златоглавый мужской монастырь, с чудотворной иконой Богоматери, давно уже остановил наше благоговейное внимание, но, подъехав к нему, мы миновали его, направляясь прямо к главной цели, к женскому Введенскому монастырю. Святые ворота его были отворены, мы въехали, ища глазами кого-либо, чтобы спросить, куда можно пристать и остановиться, но никто не показался нам на улице, и мы доехали до самого соборного храма, окруженного могилами. Вдруг из дверей одного из длинных монастырских корпусов потянулся целый бесконечный ряд монахинь; оказалось, что все они обедали в трапезе, откуда и шли. Окружив нас, они объявили, что у них нет гостиницы для богомольцев, потому что, так как монастырь в городе, то в этом нет никакой нужды, да и притом почти все богомольцы останавливаются в Большом (т.е. мужском) монастыре.

Мы уже хотели вернуться в последний, но одна старица, мать Вера, остановила нас, сказав: "Подождите немного, я пойду доложу матушке игумений, может быть, она и благословит вам остаться здесь." Через несколько минут она вернулась и пригласила нас в свою келью, где тотчас же предложила нам самовар и принесла трапезную пищу. Какое отрадное впечатление произвела на меня эта, в первые же минуты моего приезда в обитель, встреча лицом к лицу всех сестер! Это напомнило мне нечто институтское, когда мы свободно и весело выходим из класса, или из зала, болтая друг с другом в простоте братского общения! Все лица сестер казались мне простыми, ласковыми, и мне невольно пришли на ум слова: "се покой мой, zde вселюся!" Еще не успели мы наобедаться монастырской трапезой, как пришла молоденькая послушница матушки игумений и передала нам, что если мы желаем видеть матушку, то она теперь может нас принять. Как обрадовалась я этому приглашению воспользоваться и сказала, что еще успеет переговорить с матушкой и принять ее благословение. И это было мне на руку, что могла беседовать с матушкой игуменией наедине.

В то время настоятельницей Введенского монастыря была очень образованная великосветская девица, дочь генерала И. Тимковского, воспитанница Смольного института (в мире Ольга) Серафима Тимковская. Как ни велико было мое стремление к жизни монашеской, как ни велика любовь к представителям ее, тем не менее, невольный трепет овладел мной, когда, приведенная в кельи игумений и оставшаяся ожидать ее выхода, я невольно задавалась вопросом: "Что-то будет со мной?" Но вот из противоположной двери вышла монахиня, роста более, чем среднего, хотя и не высокого, довольно полная, моложавая, красивая, с чрезвычайно добродушным выражением лица. Она направлялась ко мне и, поздоровавшись, пригласила сесть; приказав послушнице подать чай, обратилась ко мне словами: "Не правда ли, нам можно чайку выпить, - вы с дороги." Потом продолжала: "Что, вы помолиться к нам приехали?" - "Не только помолиться, - ответила я, - но и совсем бы поселиться у вас я бы желала."

"Вы еще такая молоденькая, - сказала она, - впрочем, Бог всех призывает и во всякое время; но что об этом говорить так рано, вы прежде погостите, поглядите на нас, познакомимся, тогда и поговорим." Я отвечала, что это и есть главная цель моего приезда, и что остаться теперь я еще не могу, не получив окончательного благословения родителей и не развязавшись совсем с мирскими делами. Долго мы еще беседовали с матушкой, которая своей лаской и добродушием так привязала меня к себе, что я почувствовала к ней какую-то родственную любовь. Она позволила мне гостить до Крещения (так как дольше мне самой нельзя было мешкать) и перевела меня поближе к себе - в мезонин над ее кельями, где жили старица мои. Глафира, одна барышня М.Н.Л. и их келейница.

Почти ежедневно приглашала она меня к себе, время это было праздничное, следовательно, и сестры были свободны от общественных занятий (послушаний), и я могла ближе ознакомиться с ними и узнать от них некоторые подробности монастырской жизни. Я неоднократно ходила молиться и в "Большой" монастырь к чудотворной иконе Богоматери, и так почти незаметно протекла целая неделя моего пребывания в Тихвине; надобно было собираться в обратный путь, и сердце мое снова начинало сжиматься при сознании, что снова должна я вернуться к несносной для меня мирской жизни, хотя бы и ненадолго, но чем ближе наступил бы час окончательной с ней развязки, тем большие скорби ожидали меня. Перед отъездом я пошла проститься с матушкой игуменией и окончательно порешить с ней о деле моего поступления в обитель. Добрая матушка обласкала меня на прощание, как родная мать; и я, незнакомая с монастырской дисциплиной по отношению к настоятельницам, отнеслась к ней так сердечно и искренне, раскрыв пред ней все свое сердце, все мысли и все обстоятельства моей домашней жизни. Я слышала от сестер, что вступающие в монастырь дворянки, по большей части, вносят вклады Денежные, так как разделять более тяжелые труды монашеских послушаний они не способны, а быть в тягость обители, не принеся ей никакой пользы, как-то и грешно. Я, как упоминала и раньше, имела свою собственность по наследству от деда; кроме того, имела долю и в общих усадебных имениях; но как то, так и другое было в руках матери, и просить ее о вкладе за меня в монастырь значило подать новый повод к задержанию меня в мире и даже к раздору в родной семье. Деньги, доставшиеся мне от деда наличными, по словам опекуни-матери моей, были ею потрачены на мой выход из института, когда мне было сделано все нужное и даже приготовлено приданое; деньги, находившиеся по долгам под векселя, нельзя было еще получить суммой, а проценты, получаемые с них, мать моя тратила не на мою только нужду, а и на общие всего семейства; это я знала и никогда не думала против этого протестовать. Дорогие вещи, доставшиеся мне по наследству, а равно и мое приданое, и все мое, мало ли, велико ли оно было, - все было в руках матери, так как я еще не достигла совершеннолетия, 21-го года. Мне

было лишь девятнадцать лет. Могла ли я надеяться на ее щедрость, припоминая историю с серьгами, особенно, когда дело шло о моем удалении в монастырь, совершенно противном ее желанию и воле. Один только домик составлял в полном смысле мою собственность; все документы на него были у меня в руках, может быть, потому только, что я в нем жила и они были для сего необходимы. Но как бы то ни было, не видя никакого другого источника, я пришла к решению продать этот дом и вырученными деньгами внести за себя вклад монастырю и устроить все свое переселение, на что также понадобятся деньги.

В последнюю свою беседу с матушкой игуменией я все это объяснила ей, прося и назначить мне сумму взноса. Каково же было мое удивление, когда на это матушка отвечала: "Зачем же вам вклад, такие личности, как вы, - сами клад для монастырей, потому что их весьма мало приходит к нам; ведь вы можете принести нам много пользы, как ко всему способная, образованная девица, притом же хорошо знающая не только пение, но и музыку, чему мы нарочно обучаем простых крестьянских девушек, за неимением ученых. Вы лучше припасите что-нибудь для себя, ведь и в монастыре надо многое, и ряса, и одежда всякого рода, и чай, и многое, многое, - вам, я думаю, говорили об этом сестры." Видимо, матушка игумения расположилась ко мне, просила написать ей обо всем, что последует из моего решительного разговора с матерью, и напутствуемая ее благословениями, со слезами о разлуке с ней и с сестрами, я отправилась в обратный путь, с твердым решением покончить дело.

IX

Чем ближе я подъезжала к дому, тем сильнее сжималось мое сердце предчувствием чего-то недоброго. Вернулась я в свой домик поздно вечером, около 11 часов, когда все домашние уже спали; это было согласно моим планам, ибо я хотела хотя первые часы по приезде провести одна, избегая расспросов и пересудов о моей поездке, о которой, как я предполагала, никто не мог знать кроме того, что я поехала в Ивер. Но я ошиблась: почти весь городок наш знал об этом все подробности, знали и мои родители, очень встревожившиеся такой неожиданностью. Брат мой Костя, тоже вернувшийся уже из усадьбы к началу занятий и в час моего приезда спавший в своей комнате, встал и, поздоровавшись со мной, сообщил мне много неприятного относительно того, как взглянула мать моя на эту поездку. "Хоть бы объездила она все монастыри, - сказал он слова моей матери, - я не отпущу ее, это бредни ее, и слышать ничего не хочу." - К ужасу моему, я увидела, что благословение, данное мне ею, или забыто ею, или она не придает ему никакого значения. Костя просил меня, однако, не говорить матери, что он передал мне ее слова, я же не только дала ему в этом обещание, но и сама просила его не подавать и вида, что мне что-нибудь известно. Делала же я это в том соображении, что пока я еще не видела матери, а, следовательно, и не слыхала ее выговоров, я могла действительно ничего не знать и спокойно действовать в своих планах и намерениях. На следующее же утро я поспешила послать записку (написанную мной ночью) к одному знакомому нашему Доктору Вл. Ев. Хлебникову, не раз любовавшемуся моим домиком и изъявлявшему желание купить его, извещая его, что я согласна продать свой домик, и что, если ему угодно, он может придти переговорить со мною. Поспешила я это сделать в том соображении, что если, когда приедет матушка и, конечно, будет протестовать, то дело, как уже начатое, ей не так удобно будет остановить, - постесняется посторонних лиц. Он не замедлил приехать, осмотрел весь домик, но говорить о цене я отказалась сама, сославшись на свою неопытность и просила обождать, пока приедет мать. Мать не замедлила приехать: она собиралась "разделяваться" со мной за мою поездку в Тихвин, а узнав, что я еще и дом запрдала, так огорчилась на меня, что я и описать не могу. Никакие с моей стороны напоминания о данном ею благословении, никакие доводы о моем

призвании, никакие слезы, ни мольбы не сильны были успокоить ее. Она даже угрожала мне лишить меня навсегда своего материнского благословения, то есть на всю мою жизнь, как бы она ни устроилась: "Если так, - говорила она, - то ты и не знай меня, забудь, что у тебя есть мать, и мне легче будет забыть тебя, чем живую похоронить в стенах монастырских." Относительно же продажи домика она сказала: "Пожалуй, продай дом, ты в нем для того, как видно, и поселилась, чтобы удобнее ходить по церквям, да по монастырям, на своей волюшке, а не будет дома, ты опять будешь с нами в усадьбе, и мы скорее рассеем твою святость, твою хандру." Казалось, всякая надежда мне изменяла; мне оставалось безмолвно оплакивать свою долю и - повиноваться ей.

Дела с г. Хлебниковым продолжались, но ужас брал меня при мысли, что этой продажей я себе самой рою яму, из которой едва ли когда выйду. Советников у меня не было, кроме о. игумена Вениамина и о. архимандрита Лаврентия, но последнему я могла только писать, что, конечно, имеет своего рода неудобства, а первому я действительно все открывала и его только словами и утешениями и поддерживалась. Между тем, такой быстрый и неожиданный переворот всех моих планов, такое полное отчаяние в осуществлении их хотя бы когда-нибудь, сильно повлияли на мое здоровье; никакой органической болезни у меня не было, но я едва, едва влачила ноги, аппетит и сон отказались поддерживать меня, я скучала, и скучала не просто, как случалось и прежде, а как-то убийственно тяжело, всех избегала, воображая, что все на меня "пальцем показывают", все осуждают, как преступницу, или как сумасшедшую, и тому подобное. Молитва моя - это единственное оставшееся мне утешение - и та лишилась прежде воскрелявшей ее надежды, в ней осталась одна лишь беззаветная любовь к Сладчайшему моему Небесному Жениху Христу, и я, едва ли еще не с сильнейшей любовью к Нему говорила: "Векую мя отринул еси от лица Твоего, Свете мой!" "Что ми есть на небеси, и что восхощу на земли. Ты - Боже сердца моего во век!" "Тебе, Женише мой, люблю и Тебе ищущи страдальчествоую!" "Не буди мне оставити Тя!" и проч.

В таком томлении провела я весь январь месяц. 26 января, в день моего Ангела приехали из усадьбы все наши и нашли, что я очень изменилась и похудела. Для них понятна была причина этого, однако, мать моя оставалась тверда в своем решении, с чем и уехала обратно в усадьбу. Да я уже и не льстила себя никакой надеждой, считая волю матери бесповоротной. Но тогда-то именно, когда исчезает всякая человеческая надежда, является помощь свыше, - "да премножество силы будет Божия, а не от нас", - по слову Апостола.

В ночь на 1 февраля видится мне необычное сновидение, поднявшее хотя несколько совсем упавший мой дух. Виделось мне, что я вместе с матерью моей нахожусь в ее комнате; подошед к окну, вижу толпу народа, по дорогам со всех сторон идут и бегут еще люди всякого возраста и пола и присоединяются к этой толпе. Взоры всех и каждого устремлены кверху, все смотрят на небо, крестятся и молятся. По воздуху несут икону Богородицы, и несущие ее поют в честь Пречистой песни, мне неведомые. (На воздухе, как известно из книг, явилась Икона Богородицы Тихвинская.) Небо голубое, совершенно безоблачное, солнце светит высоко, как в полдень, повсюду звонят во все колокола, звон колоколов сливается с небесным пением. На земле среди столпившегося народа видны и хоругви и кресты, точно бы совершается крестный ход и внизу и на небе, я стала просить матушку, чтобы она и меня отпустила туда же, но она не пустила меня, и, указывая на образ Казанской Богородицы, висевший (действительно) в ее киотном угольнике, сказала: не пущу никуда, молись здесь, и без того много ханжишь?" (это обычное ее выражение). Сказав это, она сама вышла из комнаты, заперев меня в ней на замок. Оставшись одна в запертой комнате, я бросилась на колена пред иконой Казанской Богородицы и горько зарыдала. Вдруг, не знаю, каким образом, чрез дверь ли или иначе, я очутилась среди толпы под самой иконой, несенной по воздуху, и

Владычица с высоты сказала мне: "Ну, вот и ты у Меня, - не плачь!" Пробудившись, я истолковала себе это сновидение, как предзнаменование моего скорого ухода в монастырь, хотя по человеческим моим соображениям, надежды к тому не могла иметь ни малейшей.

Дня три спустя после этого около 3-х часов пополудни я сидела одна в своей комнате, когда мне подали с почты письмо. По почерку я узнала, что оно было от о. архимандрита Лаврентия, и очень обрадовалась. Но какова же сделалась моя радость, а вместе и удивление, когда я стала читать его! Вот оно слово в слово. "Мир тебе, овца Христова стада!

Спешу обрадовать тебя тем, чему ты, может быть, уже и радуешься. Впрочем, пусть и из Ивера летит к тебе привет, да знаешь ты, что и тут есть душа, пекущаяся о тебе, овечка Божия, не менее, может быть, как ты и сама о себе. Итак, приветствую тебя, радуюсь за тебя! Для всех людей наступает скоро Великий пост, а для тебя - Пасха, буквально Пасха, - переход чрез Чермное море твоей многострадальной жизни, в землю обетованную, в обитель "кипящую медом и млеком" духовных плодов подвижничества. Матушка твоя сегодня только уехала от меня; а прибыла она сюда по особенному указанию Пресвятой Богородицы, явившейся ей и повелевшей отпустить тебя на служение Ей, что она и обещала исполнить не медля. Подробности сего она сама тебе сообщит, если заблагорассудит, - это дело ее, впрочем, с тебя и того довольно. Прибавлю только к сему, что матушка твоя - прекрасная, истинная христианка, а что упорствовала она, не отпуская тебя в монастырь, то это единственно по безграничной, материнской любви своей к тебе.

Итак, радуйся, и паки реку, радуйся и пиши мне. Твой отец, убогий А. Лаврентий."

Не веря своим глазам, я несколько раз перечитала эти бесценные строки, целовала их, как писавшую их руку и, наконец, не вмещая в себе полноты радостных и благодарных Богу чувств, поспешила поделиться этим с неизменным своим старцем, от. игуменом Вениамином, взяв с собой и самое письмо.

Несмотря на такое веское уверение, как письмо архимандрита Лаврентия, и на предшествовавшее утешительное мое сновидение, мне все еще смутно верилось в возможность осуществления сего. Но вот приехала и сама матушка. Я, по обыкновению, выбежала встретить ее на крыльцо, но она, как только увидела меня, так зарыдала и опустилась на стул. Я поняла причину ее волнения, но вместе и испугалась, чтобы эта причина не вызвала вторичный отказ и перемену намерений. Когда она, поднявшись в мои комнаты, успокоилась, то рассказала мне следующее: "В ночь на 1 февраля (именно в ту ночь, когда и меня утешила Владычица) я была очень встревожена странным видением и голосом, порицающим меня за тебя, Машенька, то есть за то, что я не хочу отпустить тебя в монастырь. Едва дождалась я рассвета и тотчас приказала заложить лошадей, чтобы поехать в Иверский монастырь к отцу Лаврентию, думая поговорить с ним от души, да помолиться Царице Небесной. Вот там, с благословения Владычицы, я и дала обещание не удерживать тебя более." Сказав это, она снова заплакала и стала ласкать меня, каясь, что причиняла мне столько душевных страданий и томлений. Она позволила мне делать надлежащие приготовления к предстоящей мне новой жизни, поспешить продажей домика моего и окончательно собираться в путь.

Домик свой я продала Хлебникову за 10000 р.: в провинциальных городах, таких небольших, каким был в то время г. Боровичи, дома не дороги, да и притом же мой домик, при своем удобстве и местоположении (на углу), был уже не новый. Несмотря на невеликость этой суммы, я оставила из нее себе лишь 700 р., половину которых думала внести в монастырь в виде вклада, хотя и помнила слова о сем игумений. Все свои платья, приданое, все дорогие вещи я оставила в распоряжение матери, а, что было попроще, и менее ценное раздала бедным.

Все время этих подготовлений матушка была со мной в городе, отправляла мои вещи и мебель в усадьбу, наконец отправились и мы с ней вместе туда же, предварительно съездив в последний раз проститься с незабвенным моим отцом и первым духовным утешителем о. Вениамином. В усадьбе я пробыла несколько дней, поспешая вырваться оттуда, потому что было очень тяжело видеть всеобщие их слезы и непритворную скорбь обо мне. Был назначен день моего отъезда; рано утром все поднялись на ноги; приглашенный к этому дню отец игумен Вениамин в присутствии всех собравшихся проводить меня родных и знакомых отслужил молебен пред иконой Казанской Богоматери (виденной мной во сне). Этой иконой благословили в замужество мать мою, ею же она захотела благословить меня на жизнь иноческую. По окончании молебна сам о. игумен Вениамин вынул из киота икону и подал ее матушке, перед которой я стала на колени. Когда, благословляя меня, матушка моя поставила мне на голову икону, то сама она едва не упала от сильного наплыва чувств и горя. И мое сердце скорбело о ней, я не могла не понимать, сколько горя и самоотвержения причинила я ей своим уходом. Затем все кончилось: мы обе с ней сели в приготовленную кибитку и, напутствуемые слезными прощаниями, отправились по большой дороге к станции Валдайке, миновав которую, думали проехать в Иверский монастырь к о. архимандриту Лаврентию, чтобы мне принять его напутственное благословение. За нами в других санях ехала наша старушка, бывшая наша крепостная женщина, которой поручено было сопровождать меня до самого Тихвина, а на Валдайке она должна была отправить мои вещи до Чудовской станции, чтобы они пришли туда ко времени нашего прибытия, чтобы мы могли взять их с собой, когда поедем лошадьми от Чудова до Тихвина.

Х

Бог не судил матушке проводить меня и до Ивера: от сильной тревоги, от скорби и волнения она совсем расхворалась и должна была с Валдайки вернуться домой, обещаясь выехать сюда же в тот день, когда вернусь из Ивера, чтобы сесть на машину.

В Иверском монастыре я пробыла три дня; отчасти это было и необходимо, чтобы мне отдохнуть душой от бывших за последнее время тревожений и хотя несколько подкрепить свои нравственные силы для вступления на новый нелегкий путь монастырской жизни. Не велик, кажется, срок - три, четыре дня для нравственного подкрепления на великое дело, но для меня эти дни оказались лучшими и незабвенными на всю мою последующую жизнь; я провела их исключительно в молитве и почти целодневном общении и духовной беседе с великим старцем и опытейшим настоятелем монашествующих. Он не читал мне длинных и сухих поучений, но старался из всякого случая обыденной жизни извлечь урок и назидание. Не лишним будет, думаю, если укажу здесь некоторые примеры: по приказанию батюшки, я в эти дни всякий раз после ранней Литургии приходила к нему пить чай; ежедневно на площадке у входной двери его кельи толпилось множество нищих и калек, которым келейник его (его родной племянник Василий, называемый им "Бурсой", потому что он воспитывался в семинарии, в "бурсе", т.е. в общежитии) разделял деньги, как потом я узнала, по положению по 3 рубля в утро. Случалось, что денег этих не достанет на всех, и "Бурса" заропщет на их множество, тогда батюшка скажет. "Бурса, поставь себя на место нищего: легко будет тебе, когда не дадут тебе милостыньки, да еще и заропщут на тебя? Не жалеи, друг мой, и своего-то, не только чужого; нищие - это братья Христова, их особенно надобно миловать." Еще говаривал он мне по этому же поводу: "Не залеживалась у меня никогда ни одна копейка, всегда я находил ей, по милости Божией, место в руках неимущих; о, там сохранится она гораздо лучше, чем в самом прочном кошельке."

Говоря со мной о подвигах монашеской жизни, он советовал мне "не вдавать себя каким-либо подвигам, особенно самовольно, чтобы враг не посмеялся мне, как неискусной, то есть

неопытной, и не повел бы к худшей скорби." "Берегись, - говорил он, - берегись во всем излишества; где нам немощным налагать на себя трудные подвиги? Дай Бог нам стяжать смирение и послушание, что выше всяких подвигов. Скажу тебе словами одного богомудрого старца: "подвиги для монаха - лакомство, а послушание и смирение - пища". Без пищи жить нельзя, а без лакомства можно. Скажу тебе и другой пример: к одному пустыннику пришел монах просить у него благословения надеть "вериги", или, по крайней мере, власяницу, старец не ответил ему, а предложил трапезу; во время беседы старец ударил пришедшего к нему, тот оскорбился и стал выговаривать ему в свою защиту. Тогда старец-пустынник встал и поклонился в ноги гостю, говоря: "Прости меня, чадо, я хотел посмотреть, можешь ли ты носить вериги, о которых просил." Монах получил урок, что прежде чем думать о веригах, надо научиться смирению и безропотному сношению оскорблений." Еще говорил: "Вспомни житие преподобного Досифея, как он в пять лет путем послушания и смирения достиг совершенства монашеского и был вчинен после смерти в лике великих старцев; это поучительно для каждого новоначального послушника, имей и ты этот пример непрестанно перед глазами и старайся подражать ему. Впрочем, этим я не хочу погашать в тебе усердия к трудам подвижничества, но хочу только внушить тебе, что смирение и послушание - эти духовные подвиги - выше всех остальных. В монастырских общежитиях от постоянных соприкосновений друг с другом и в послушаниях, и в келиях, почти неизбежно возникают столкновения, скорби и тому подобное, - вот тут-то и найдешь для себя повод к смирению, к безропотному несению скорбей, к безусловному послушанию не только старшим, но и равным, и младшим. Не соблазняйся этим; это - духовное горнило, очищающее душу инока, подобно как вещественное горнило очищает золото. Это лучшее училище самопознания, как вышеприведенный пример монаха, не могшего снести заушения старца, а бравшегося заковать себя в вериги; общежитие - наилучший учитель смирения." Когда я спросила его о посте и вообще об употреблении пищи, он отвечал: "Думаю, еще рано говорить об этом; пока вот тебе мой совет, следуй в этом общему правилу и уставу монастырскому, никакого особенного поста на себя не налагай, довольствуйся и держись трапезы; еще как примет ее твой организм, доселе балованный, неженный, трапеза в монастырях всегда суровая, постная, дай Бог, чтобы ты ее переносила; а в противном случае - не ропщи, помня, что в монастырь идут не для сладкоядения и пресыщения, а для алчбы и лишения. Воспитывай себя, то есть своего внутреннего человека, во всем; придерживайся в этом случае порядка, каким шло твое воспитание научное: ведь не вдруг тебя стали учить высшим наукам, а начали с азбучки, так и душе нашей бесполезно и нельзя браться за высшие подвиги и посты, пока не изучит духовной азбучки - смирения и послушания."

Раз, когда мы с батюшкой обедали в его столовой, он сказал мне: "Я знал одного старца, который говорил про себя, что он не был постником, но никогда во все время монашества не поел в аппетит; он нарочно портил себе кушанья: или пересолит так, что, казалось бы, и есть нельзя, или кушает совсем без соли, или же смешает вместе два или и больше кушаний и ест так, что, видимо, сам насилу глотает." Я поняла данный мне этим урок. Сказанное же им как бы о другом старце, я поняла, как его собственное дело, так как он сам часто поступал таким же образом.

Когда рассуждали мы с ним о молитве, то о ней он сказал так: "Вся жизнь инока должна быть непрерывная внутренняя молитва". Молись непрестанно, молись внутренне во время дела, во время отдыха, всегда, всегда предзри пред собою Господа, твоего Жениха Небесного, чтобы сердце твое ни на минуту не изменило Ему ни одним помыслом. Дорожи своим призванием, но помни, что "много званых, а мало избранных", не по твоей заслуге избрал тебя Господь, - ты еще и не начинала служить Ему, а это - всецело Его великая

милость к тебе, и кому много дано, - много и взыщется с него, да "не вотще благодать Божию прияти нам."

Батюшка снял с своей руки старые поношенные шерстяные вязанные четки и, подавая их мне, сказал: "По этим четкам я приучал себя к непрестанной молитве, - возьми их, если не побрезгуешь, может быть, хватит их и для твоего обучения." (Эти четки у меня по сие время хранятся, и я хотела бы сохранить их до самой смерти моей.) При этом он прибавил: "Я знал одного старца, который говаривал: "По милости Божией, я сохранил обеты нестяжания; но на четках готов носить алмазы, ибо всякий шарик их соединен с сладчайшим именем моего Господа."

Много подобных примеров и изречений приводил мне батюшка, но почти каждая наша с ним беседа оканчивалась его ободрительными мне словами: "Ты пойдешь. Тебя Сам Господь как бы за руку ведет: Он вывел тебя, и Ему Одному ведомыми судьбами, из среды мира, вывел и поставил на пути удобнейшего служения Ему. Он и не оставит тебя Своей благодатью. Я спокоен за тебя." Такие любвеобильные, отеческие слова не могли не проникать в самую глубину моей души; я слезно благодарила Бога за то, что Он послал мне такого отца и старалась запоминать все его слова, которые тотчас же записывала для памяти. О, какой отрадной помощью служили они мне в минуты скорби и недоумений монастырской жизни! В день отъезда моего из Ивера я приобщалась Св. Тайн за ранней Литургией, после которой по обычаю пошла к о. архим. Лаврентию. После поздней Литургии он сам отслужил для меня напутственный молебен пред чудотворной иконой Иверской, вручив меня Ее всемилостивейшему покровительству. Затем, отобедав у него, я стала собираться в путь. Достав из киотника своего икону "Беседной Богоматери" (за три версты от Тихвина находится Беседный монастырь с чудотворной иконой этого имени), он благословил меня ею, со слезами отеческого расположения и любви он неоднократно поцеловал меня в голову, я же обливала слезами его благословляющую меня десницу. "Пиши мне, овца, - сказал он, уже провожая меня за двери, - я буду по возможности отвечать тебе, молись за меня, а я уже вечный твой молитвенник." Эта разлука с человеком, столь близким мне по духу, понимавшим все движения и стремления моей души, так любвеобильно и внимательно отнесшимся ко мне в то страшное для меня время, когда, как мне казалось, весь свет от меня отвернулся, признавая меня за лишившуюся разума, разлука с человеком, которому я обязана всей своей последующей жизнью, была для меня гораздо чувствительнее разлуки с родителями и со всем, что я могла назвать "своим".

XI

Выехав из этой, незабвенной для меня по гроб (жизни, обители, я долго обращала к ней взор, - полный слез, внутренно молилась и крестилась на кресты ее храмов, пока совсем они не скрылись из вида. "О, если бы также приласкала меня и моя будущая Введенская обитель, которой всецело отдаться намерена я! - думалось мне, - но этого быть не может; там - школа духовного воспитания, там предстоит борьба со своим внутренним человеком, там по всему - путь крестный, а "без креста не увидишь и Христа", как говорил мне, по пословице, мой батюшка, о. Лаврентий." В таких размышлениях и Валдайки; так как лошади, привезшие меня, были монастырские, то мы и остановились у маленького деревянного домика, где жили монахи Иверского монастыря, то есть на Иверском подворье. Там давно уже ожидала меня моя матушка, стремясь еще хоть раз взглянуть на меня и проводить на машину. Пользуясь оставшимся до прихода нашего поезда временем, мы с ней уже в последний раз в жизни вместе напились чаю. Конечно, не предполагая этого, я шутила с ней, стараясь развлечь ее и не допустить до рыданий, которыми, казалось, уже готова она была разразиться, шутила, говоря: "Вот, мамочка, Бог даст, ты приедешь ко мне в Тихвин, и мы с тобой точно также

будем пить чай в моей келье." Она на это горько улыбнулась и отвечала: "Да будет ли это? - Нет, Машенька, мне не перенести разлуки с тобой. Легче бы мне было похоронить тебя в могилу, чем живую оторвать от себя." Обе мы расплакались, да и не мы только, а и все присутствовавшие. Но вот настало время, и мы все направились в вокзал; я ничего не помню, как что было, и как нас усадили в вагон, помню только, как матушку мою повели под руки из вагона, когда я осталась там с провожавшей меня старушкой. Не помню сама, как моментально пришла мне мысль, которую я еще успела, выскочив из вагона, высказать поддерживавшим матушку людям: "Уговорите ее, или насильно свезите ее прямо в Иверский, она там успокоится." И это мое последнее невольное слово было исполнено добровольно самой матушкой, когда ей его передали. Об этом писала мне она сама, а также и о. Лаврентий, который для обеих нас стал поистине ангелом-утешителем.

Дальнейший путь наш был благополучен, и 19 февраля я была уже в Тихвине, где на всю мою жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное мне самой чувство овладело мной, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю; вдруг пришла мне непроизвольно мысль, что нелепо мне въехать во святые врата обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройкой лошадей впряженном, экипаже; не так Спаситель наш шел на Голгофу, не в порфире и убранстве царского благолепия возмог и царь Ираклий внести святой крест во врата града, не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов - достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными, тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама м. игуменья увидели меня, идущую и направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. Я сряду же пошла к м. игуменьям спросить о том, где она благословит мне остановиться и сложить свой багаж. Она указала мне ту же самую келью, в которой я гостила у старицы монахини Глафиры, в мезонине над игуменскими покоем. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду, на что она отвечала мне: Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь - жизнь крестная".

XII

День моего приезда и водворения в обители был, как я упоминала, 19 февраля; это был родительская Суббота перед масленицей; масленица и в обителях имеет некоторую льготу против обыденной жизни: последнюю половину недели, с четверга, сестры освобождаются от общественных работ, то есть от послушаний, трапеза поставляется сравнительно лучшая, кроме того, на ней подают блины, да и по кельям не возбраняется печь блины и все, что угодно. Но вот наступал Великий пост, пришел вечер "Прощального Воскресенья". По обычаю, существовавшему в Введенском монастыре в то время, в Прощальное Воскресенье после вечерни, за которой все прощаются друг с другом, идут все в трапезу заговляться, идут даже и больные, и увечные, одним словом, все сестры, могущие хотя только передвигать для ходьбы ноги. Наша м. игуменья Серафима обязательно ходила ежедневно в трапезу обедать, а в этот день приходила и ужинать. После ужина читались положенные молитвы, а затем снова все начинали Прощаться, кланяться друг другу в ноги, не исключая и м. игуменья, тоже кланявшейся в ноги всем сестрам. Затем все расходились по кельям, где и пребывали безысходно до субботы первой "недели Великого поста, кроме церкви, которую посещали во время каждой службы, а на первой неделе - больше службы, чем отдыха. Пищи вареной не давали во всю неделю, а в "чистый" понедельник и в пятницу не полагалось ничего, кроме ломтя черного хлеба. Питие чая было предоставлено произволу и силам каждой сестры по ее усмотрению; немощным и клиросным он разрешался, а остальные предпочитали воздержание. В пятницу с раннего утра начиналась исповедь: для монахинь постриженных

приезжал духовник, иеромонах из "Большого" Тихвинского монастыря, а послушницы исповедовались у своих белых монастырских священников. В субботу все были причастницами Святых Христовых Тайн. Затем, последующие недели до Страстной недели были уже гораздо льготнее, - трапеза, хотя и очень постная, поставлялась по дважды в день, и проходились обычные монастырские послушания. Я, как "новичок", всему этому удивлялась и восхищалась, но не без труда было мне после самоугодной по отношению к пище мирской жизни. Мы обе с сожительницей моей, барышней М.Д. предпочитали "самоварчики" всякой постной пище, к которой привыкнуть не могли.

Так проходил Великий пост, в конце которого м. игуменья позволила мне озаботиться отдать шить для себя рясу, обещаясь одеть меня в нее к светлому празднику Пасхи. С какой искренней чистой радостью приняла я это благословение, считая величайшей честью надеть эту "ангельскую одежду", хотя бы из самой суровой крашенины (крашенного холста) или и того суровее. Надобно при этом заметить, что при себе денег у меня почти не было. Семьсот рублей, привезенные мной из мира, я целиком показала матушке игумений, прося ее взять из них 300 рублей взносу за меня, а остальные оставить в мою собственность на мои нужды. Добрая матушка опять повторила мне прежние свои слова, сказав, что все эти деньги спрячет для меня и будет мне выдавать с них проценты два раза в год по 17 рублей, что и исполняла неизменно. Но какие это были деньги при тех условиях жизни, в каковые мы были поставлены! Мы имели готовые только кельи, дрова и скудную трапезу, конечно, это существенные нужды, зато все остальное у нас должно было быть свое: чай, сахар, если бы понадобился, - и кусок белого хлеба к чаю (что при скудной трапезе было почти необходимо), одежда, обувь, белье, верхнее платье, посуда, самовар и все, все жизненное от малой до большой вещицы, даже угля и лучину для самовара, все надо было купить. Понятно, что при таких условиях мне приходилось нести лишения во всем и во всем себе отказывать. Помня наставления батюшки, я безропотно несла всякие лишения, но человеческие немощи все же давали себя чувствовать.

На светлый праздник Воскресенья Христова, перед самой уже утреней, меня одела м. Игуменья в рясу, дав в руки и четки, как символ непрестанной молитвы. Не сумею я высказать, какая неземная радость наполнила мою душу; я чувствовала себя и воображала счастливее всех на свете, а может быть, и действительно была такова, если справедливо то, что счастлив тот, кто доволен своей судьбой. Впрочем, старица моя, м. Глафира, предупреждала меня, говоря, что с одеянием монашеским я возлагаю на себя и монашеский крест. Я тогда не могла понять силы и значения этих слов, или же, может быть, безграничное мое стремление к монашеству не давало мне вполне понять силы и значения этих слов, или же, может быть, безграничное мое стремление к монашеству не давало мне вполне понять, или иначе сказать, закрывало от меня силу и смысл слов монашеский крест. Но жизнь сама собой скоро открыла мне глаза и показала этот крест во всей его тяжести. Не стану описывать, да и возможно ли было бы описать все скорби монастырской жизни, понятные только тому, кто понес их на своих раменах, и сам их изведal и познал; а кто не коснулся их, тому напрасно и говорить о них, ибо сочтет он их мелочами, пустяками и т.п. под. и никогда не поймет их значения.

Одевшись в монастырскую рясу, я стала совершенно послушницей, а потому и стала разделять все монастырские послушания, то есть общественные обязанности и службы. Прежде всего меня поставили на клирос петь и читать в церкви, а затем заставили делать и всякое случавшееся дело, не спрашивая, конечно, могу ли я, умею ли, способна ли, в силах ли и т. под., одно слово: "послушание не рассуждает", "не прекословит"; велели - делай, сказав: "благословите". Если испортишь, - и заплатишься, а все же останешься виновным.

Приходилось мне, например, исполнять чередное послушание: мыть посуду после обеда сестер (то есть после трапезы). Казалось бы, чего легче этого дела? Однако, окончив свою неделю череды, я не находила покоя рукам, до крови изъеденным горячим щелоком, в котором приходилось им непривычно купаться, пока не вымоют до 200 тарелок, столько же блюд и столько же ложек; долго не могла я приняться ни за какую работу, потому что кожа лепестками сходила с рук, все зацеплялось, не спорилось, не говоря уже о боли, о которой если упомянешь, то ряд насмешек и колкостей посыплется на тебя: "вот так послушница-труженица, посуды не вымыть!" Первое лето мне, как новоначальной, необходимо было исполнять все и общественные полевые работы: я ходила в огороды полоть, поливать, прогребать, ходила на сенокос и на жниву, и всюду, куда посылали. Само собой разумеется, что работала я очень плохо, тем не менее, работала почти до вечерни, незадолго до которой приходила домой, чтобы приготовить старице и сожительнице самовар, что лежало на моей обязанности, как младшей в келье, когда келейница наша была занята на более еще трудных послушаниях, иногда и далеко от обители; сама же я, как бы ни была уставшей, но всегда имела возможность напиться чайку "в удовольствие", как и сколько бы захотелось. В 5 часов ежедневно я ходила к вечерни, после которой оставалась слушать читаемое "монашеское правило", состоявшее из трех канонов, акафиста и помянника, хотя это было обязательным только для монахинь, а не для новоначальных. Мне было легче в церкви, как, бывало, выплачешь в молитве пред Богом все свое горюшко, а его было немало. В келье тоже не совсем хорошо мне было; сожительница моя, барышня М.Л., бывшая старше меня не более как года на два, как по возрасту, так и по времени поступления в монастырь, видела во мне всегда свою конкурентку во всех отношениях; на клиросе мы стояли вместе, но в этом случае мне отдавали преимущество; в остальном мы еще не могли равняться, так как я была еще на "искусе" первого года, но все же она не питала ко мне дружественных отношений, чего я не могла не чувствовать. Мне было всесторонне трудно; враг, как бы пользуясь таким грустным состоянием души, наводил на меня еще иногда сильную тоску по матери, живо рисуя картину ее страданий и слез.

Я писала обо всем о. арх. Лаврентию, но письма мои не доходили до него, ибо он в свою очередь писал мне, что не получает моих писем. Впрочем, Сам Бог не оставлял меня Своим непосредственным утешением и вразумлением.

Так, однажды, видела я следующий сон: иду я весьма трудной, зимней дорогой; то вязну я в сугробах снега, то скольжу по льду и падаю; то множество пешеходов и ездовых едва не давят меня, ибо дорога узкая, и по обеим ее сторонам овраги и пропасти; то откуда-то взявшийся скот рогатый идет прямо на меня и силится забодать меня; то, наконец, множество шалунов-мальчишек с неистовством напали на меня, стали меня щипать, толкать и силились свалить с дороги в пропасть. Я совсем выбилась из сил; как только они несколько послабили мне, я обернулась назад посмотреть, не лучше ли вернуться назад, потому что уже вовсе не могла продолжать путь, предполагая на нем те же препятствия и далее; но увидела, что пройдено было так уже много, что начала пути и не видно. Смотрю опять вперед, и вокруг меня уже никого нет, ни мальчишек, ни скота, и дорога гладкая, а близехонько впереди, на моей же дороге, как бы очертание дверных косяков, и в них отворенная дверь; все пространство в двери наполнено света, как бы сдерживаемого за ней; а у самой двери среди этого света стоит Сама Владычица, паче солнца сияющая, одной рукой держит скобку двери (как бы отворивши ее) и, обратясь лицом ко мне, говорит так ласково и весело, как бы мать родная плачущему ребенку. "Иди, иди, ведь Я - Вратарница" Я подошла к двери и за ней увидела большой (больше человеческого роста) Крест, весь из звезд составленный, и пала поклониться ему. Проснувшись я в великой радости, обновленная духом.

ХІІІ

Я уже упоминала, что иногда нападала на меня и тоска по матери, которую я оставила в таких страданиях и слезах о разлуке со мной, теперь мне часто приходило это на мысль, что я считала вполне естественным и по родственно-близким нашим чувствам, и по стечению моих собственных нерадостных обстоятельств, как например: когда я, не быв удовлетворена суровой монастырской пищей, многое из которой и вовсе не могла употреблять, не имела возможности заменить ее для себя более легкой и лучшей, что нам не возбранялось, то мне невольно приходили на ум слова Евангельской притчи (хотя там смысл их совершенно иной) "колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гибну"; или же считала это за наветы врага, всеми кознями старавшегося низложить меня, как и всякого, "приступающего работать Господеви", и, с помощью Божией, побеждала без большого труда все подобные искушения. Но вот сама мать моя, и ранее того мне писавшая письма, стала уговаривать меня теперь возвратиться домой; она страдала меня тем, что никогда не будет мне ничем помогать, ничего посылать, даже и мое собственное удержит все для младших детей, чего она хотя и не могла бы сделать по закону, так как я не приняла еще пострижения; но ничто, никакие угрозы, ни соблазны не колебали нисколько моей решимости терпеть всякие лишения, хотя бы и самую смерть. Когда же она написала мне, что я лишила ее своей помощи по отношению воспитания детей, а также и всесторонне, в ее уже преклонные лета, и что эта беспомощность ее сведет ее раньше времени в могилу, я стала подумывать о том, не погрешила ли я в этом действительно. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем. Но вот как вразумил и успокоил меня Господь;

Видится мне в сновидении, что мы (сестры монастыря) несем (из церкви) на головах Плащаницу; вдруг, каким-то образом из несших осталась я одна и, с чрезвычайной трудностью от тяжести ноши, принеся Св. Плащаницу в свою келью, положила ее на стол, приготовленный среди кельи, а сама в изнеможении бросилась на койку. Вдруг приотворяется дверь из сеней в келью, и в отворенную щель выглядывает из сеней злой дух, то есть диавол; вид его скверный, физиономия черная, на ней, как горящие угли, красные глаза; он заревел, как зверь разъяренный, но войти в келью не смел. Я встала с койки и, оградив себя крестным знаменем, без всякого страха подошла к двери и сказала ему: "Здесь Св. Плащаница, - убирайся; здесь не место тебе!" Перекрестив дверь (он моментально исчез), я хотела запереть ее, но вдруг в нее входит моя мать, очень скучная, вся в слезах; она стала укорять меня в безжалостности к ней и роптать на судьбу свою, и сильно, сильно плакала. Мне стало жаль ее, и, я тоже заплакала. Обе мы с ней подошли к Плащанице, взглянув на которую, я сказала: "Ну как же, мамочка, я оставлю теперь моего Спасителя, дорогого моего Мертвеца, умершего и за тебя, и за меня? Как мне перестать лобызать Его пречистые язвы, омывая их потоками и моих, и твоих слез? Нет, я ни за что не оставлю Его, не отойду от Него никогда! Лучше ты останься здесь со мной, и вместе будем лобызать их!" С этими словами я бросилась лобызать ножки Спасителя, обливая их горячими слезами любви, и тотчас проснулась. Из этого я поняла, что ни в каком случае не должна и мысли допускать оставить служение Господу ради матери; что Господь примет ее скорби и болезни сердца о мне, как благоприятную жертву ради Его, и не лишит ее Своей милости.

Да, я не могла не видеть, что Господь Сам руководит меня на пути жизни моей многотрудной и почти беспомощной духовно. Мне невольно приходили на память слова о. арх. Лаврентия, сказанные им мне при прощании: "Тебя как бы Сам Господь за руку ведет, Он вывел тебя из среды мира, поставил на пути служения Ему, Он и не оставит тебя." И не только сновидениями, но и простыми жизненными путями Господь давал мне явные вразумления. Вот, например, Он привел меня быть свидетельницей высокой, содержательной молитвы

одной старицы.

Это случилось так. Был прекрасный летний вечер; после вечерни всегда следовал ужин сестрам, на который, впрочем, ходили весьма немногие в трапезу, а по большей части ужинали по кельям, особенно старицы. В эту пору моя старица, монахиня Глафира, послала меня за каким-то делом к другой очень престарелой старице, м. Феоктисте, прибавив, что если я хочу, то могу на обратном пути и погулять. Подойдя к келье монахини Феоктисты, я, по обычаю иноческому, сотворила молитву Иисусову, ответа не последовало; думая, что монахиня Феоктиста не слышит, я приотворила дверь чуть-чуть и повторила молитву уже довольно громко; ответа опять не получила. Тогда, предположив, что старица Феоктиста лежит за перегородкой, или ужинает одна, а что келейница ее ушла в трапезу, я решилась войти в келью и отворила дверь, уже в третий раз проговорив молитву; вступив за порог двери, я не могла двинуться далее, придя в благоговейное удивление от того, что увидела. Старица Феоктиста стояла в переднем углу на коленях с воздетыми руками; губы ее что-то шептали, слезы обливали все лицо и одежду; она то падала ниц и подолгу оставалась в таком положении, и только одни всхлипывания доказывали ее состояние, то снова, поднявшись, воздевала руки, и было видно, что она находилась вне всего окружающего ее, вне всего земного. Я чувствовала себя неловко, что, войдя, невольно сделалась свидетельницей тайны души престарелой подвижницы, но вышло это так случайно, или по Божью Промыслу, восхотевшему или дать мне урок молитвы, или же вразумить, показать мне это, вопреки случавшимся мне мыслям о том, что нет в обители нашей высоко духовной жизни стариц. Я продолжала стоять неподвижно на одном месте, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить молившуюся, не смела и уйти, не исполнив поручения своей монахини, да мне и не хотелось уйти до конца этой высокой молитвы. Однако, более часа пришлось мне ждать, пока наконец монахиня Феоктиста, обтираясь платком и сморкаясь, стала подыматься с колен, но все еще взор ее был устремлен к висевшему перед ней лику Спасителя, в области Которого все еще витала душа ее. Чтобы не встревожить ее, не дать заметить, что я была свидетельницей ее молитвенного восторга, я сделала вид, что будто сейчас только вхожу, громко проговорив молитву Иисусову. "Аминь," - ответила она по обычаю иноческому, а сама поспешно ушла за переборку, бывшую недалеко от переднего угла, где она стояла; затем вышла оттуда, протирая глаза, как бы после сна, и, обратясь ко мне, сказала: "Вот Анна-то моя погулять выпросилась, а я и уснула, было; что, чай, уже ужин кончился?" "Кончился, матушка, уже более часа," - ответила я, едва сдерживая слезы, от всего виденного и теперь слышимого от смиренной подвижницы. Она вопросительно посмотрела на меня. "Да, ты, ласточка, давно уж пришла сюда?" - спросила она. "Нет, матушка, сейчас только вхожу", - успокаивала я ее. "Отчего же это у тебя слезки на глазах, или ты не скучаешь ли, ведь тебе, чай, трудненько, ласточка? Сядем-ка да поговорим по душе," - уговаривала меня добрая старица, усаживаясь со мной в тот самый угол, где только что молилась. "По душе", поистине "по душе" поговорили мы с ней, и я не посмела скрыть от нее, что была свидетельницей ее молитвы. Глубоко вздохнула она, но спокойно сказала: "Видно, так тебе Бог судил; но молю тебя: никому ни слова, ни даже твоей старице, пусть это будет твоя тайна." Мне и не пришлось никому говорить об этом, так как и старица моя, удовольствовавшись принесенным ей мной ответом, не спрашивала ни о чем более. Мне же самой принесло это обстоятельство много душевной пользы: я увидела, как молятся монахини, и сама стала ревновать о сем.

XIV

Между тем давно уже миновал первый год моей жизни в монастыре, а с ним миновал и искус мой в тяжелых, так называемых, "черных" работах, чему, по тогдашним правилам монастыря, все новоначальные, какого бы рода и воспитания они ни были, должны были

подвергаться ради учения их монашескому самоотвержению в терпении и смирении. Около того времени в городе Тихвине не было ни одного женского учебного заведения; некоторые из граждан обратились к матушке игумений с просьбой - поучить их детей в монастыре подготовительно для поступления в столичные учебные заведения, так как в монастыре из числа сестер были и окончившие курс наук. Матушке игумений пришло на мысль поручить это дело мне, как по всему мне подходящее. И вот вместо всякого другого "послушания" (кроме клиросного, которому я всю жизнь служу неизменно), я сделалась учительницей, причем образ жизни моей совершенно изменился к облегчению моему. Местом занятий наших была указана наибольшая комната настоятельских келий (зал), которая чрез гостиную была смежна с кабинетом матушки, которая в свою очередь интересовалась моими занятиями с детьми и нередко выходила слушать нас. Это обстоятельство само по себе сообщало мне много удовольствия, ибо я искренне любила и уважала матушку, почему быть хотя изредка в сообществе ее для меня было утешительно. Притом же это давало мне возможность в случае какого-либо недоразумения спросить ее совета и указания.

С этого времени жизнь моя пошла следующим порядком: ежедневно я вставала к утрени, которая бывала у нас в 4 часа утра; после утрени редко когда пила чай до поздней Литургии, к которой, впрочем, не могла ходить, потому что к 9 часам собирались мои ученицы. После Литургии мне приносили чай на место занятий, продолжавшихся до 12 часов полудня, когда я уходила в трапезу, а дети оставались кушать свой привезенный с собой завтрак; затем от часа до двух я с ними гуляла, а потом снова занимались до четырех с половиной часов, после чего они уезжали, а я шла к вечерне и, по обычаю, стояла и "правило". Только к 8 часам вечера я возвращалась в келью.

Одна из учениц, А Снеткова, была дочь очень богатого, первого коммерсанта в Тихвине; ее родители много жертвовали монастырю с тех пор, как дочь их стала учиться, следовательно, труды мои приносили обители значительную -материальную пользу; меня это радовало, да и начальница, и старицы всегда оказывали мне благодарность и расположение. Никогда не забыть мне следующего случая. Однажды, 25 января, А. Снеткова, уезжая после урока, подала мне письмо от своего отца и сказала, что завтра она не будет учиться, а приедет с родителями поздравить меня с днем Ангела (26 января). Предполагая, что это же самое написано и в письме, я не прочитала его и, даже не распечатав, опустила в карман и пошла к вечерне. Придя в келью, я забыла о нем и только перед самым сном распечатала; каково же было мое удивление и испуг, когда, вместо письма, я нашла двадцатипятирублевую бумажку. В уме моем тотчас блеснула мысль: "Это не честно; я учу "за послушание", то есть по обязанности, а мне дают деньги"; в смущении я даже забыла, что завтра день моих именин, так что это имело не иной смысл, как только подарка. Мне стало очень совестно и неловко, поутру я поспешно ушла к утрени, намереваясь все передать матушке игумений, которая почти всегда приходила к началу. Место игуменское стояло подле правого клироса, певчих же не было еще никого, так что я беспрепятственно рассказала ей все и передала конверт. Матушка, как сама добрая, и во мне усмотрела чрез этот поступок много хорошего и честного, как сама она мне высказала, а потом говорила и старицам; деньги приказала мне безусловно взять в мою собственность. Когда приехали Снетковы поздравить меня, она рассказала и им о случившемся и благодарила их за меня.

Однако враг, не терпящий мира и спокойствия между людьми, не замедлил и тут своими кознями; он научил послушавших его людей взвести против меня сильные клеветы, вследствие которых я, как безвинно страдавшая, совершенно пала духом, а другие пришли в сильное смущение. Целый месяц, однако, длилось это недоразумение и скорбь, подробностей чего я не нахожу нужным описывать; но наконец дело выяснилось: моя неповинность

восторжествовала вполне, клеветники уличены и постыжены. Упоминаю здесь об этом лишь с целью сообщить и еще о путях промысла Божия, дивно вразумляющего и подкрепляющего работающих Ему от чистого сердца.

Во время этой восставшей на меня бури, я сильно падала духом; не только самая клевета и скорбь подавляли меня (против этого я имела еще врачевство, сознание, что без сего не обойтись желающему идти крестным путем), но меня сильно смущала мысль, отчего начальники духовные так недальноразумны, что не могут отличить правду от лжи, отчего так скоро они склоняются попирать то, перед чем так еще не задолго они сами умилялись и к чему относились с уважением. Я задалась вопросом: "Где же искать правды, если ее нет в представителях ее?" Горе мое было так велико, что подавляло во мне всякое рассуждение и даже здравое сознание того, что и начальники наши - такие же люди, и прозорливства, присущего святым, мы не имеем права от них требовать. Не скрою и того, что от сильного смущения я потеряла даже усердие к молитве. Когда в келье я становилась в своем уголке для совершения ее, то происходило со мной одно из двух: или, осенив себя крестным знамением, я в сильных рыданиях падала ниц, и тогда состояние души моей походило не на молитвенное, а на какое-то подавленное; или же, иногда, сряду восставал передо мной вопрос: "Где же правда, где защита невинных, где внимающие их слезам?" И чтобы не дать воли таким расстроенным мыслям, я скорее ложилась спать. Но спалось ли мне? И так прошел целый месяц, если не более.

Но вот наконец миновала буря: возвратилась мне всеобщая ласка, любовь, сочувствие, все познали, что гнали меня напрасно, что одна злая зависть хотела погубить меня и т.д. Но душа моя, глубоко потрясенная, не могла успокоиться. Вместо прежней моей общительности, простоты, веселости, я стала недоверчивой, печальной, подозрительной. Я не могла не сознавать, на опыте то изведав, что эта любовь и ласки так же скоро могут смениться злобой и ядовитыми насмешками, как скоро сменяются час за часом. Одним словом, мое прежнее состояние духа не возвращалось ко мне; я даже с пренебрежением удалялась от них, а в душе продолжала томиться, мысленно спрашивая себя: "Если нет в монастыре искренней любви, этой основы не только иночества, но и христианства, то, значит, нет и спасения, а если нет сего, то для чего же мы живем здесь." Однажды в таких мыслях я уснула. Видится мне, что я вхожу с южной стороны в какую-то небольшую церковь или часовню (не знаю). Посреди, как бы обратясь к иконостасу, или чему-то вроде того, стоят трое, равные и ростом, и одеждой, и по всему одинаковые (не знаю, как их назвать); имеют они подобие людей, только головы их как бы в тумане, я их почти не вижу. Кроме меня и их, никого нет, - церковь пуста. Меня заинтересовали эти существа, и я довольно смело стала подходить к ним то с той, то с другой стороны, стараясь рассмотреть, кто они. Когда подошла справа, то стоявший с этой стороны обратился ко мне с вопросом: "Какой это монастырь?" Я отвечала: "Введенский." Он снова спросил: "А сколько лет ты здесь живешь?" Я ответила: "Три года." На это Он говорит мне: "Три года ты живешь в монастыре, а не знаешь, какое имя твоему монастырю." Я стала оправдываться и утверждать, что хорошо знаю, что имя моему монастырю "Введенский". Тогда Он подозвал меня поближе к себе и продолжал: "Если ты не знаешь, какое имя этому монастырю, то я скажу тебе: он - Крестокрещенский." Я и тут противоречила Ему, продолжая спорить, и даже возразила, что "и слова-то такого (крестокрещенский) нет".

В это время я увидела главу Его, как главу Спасителя, как она пишется на иконах; в левой руке Своей Он держал огромный деревянный крест, на который Он как бы опирался, а правой рукой Он слегка касался моего плеча и, ударяя ей по плечу, продолжал: "Говорю тебе, - Крестокрещенский; не понимаешь, - так слушай, Я объясню тебе: как христианский младенец крещается водой и Духом, иначе не может быть христианином, так и младенец-монах

крещается крестом, - иначе не может быть монахом. - Разумеешь ли теперь?" - прибавил Он. Я (уже и во время речи Его) познала в Нем Господа и в умилении и радости воскликнула: "Так, Господи, разумею, что надо все терпеть ради Твоего Креста." Я проснулась в величайшей радости и умилении; плечо мое еще как бы ощущало на себе прикосновение ударявшей его слегка руки. Я совершенно обновилась духом, и все мрачное настроение мое исчезло, как небывалое.

Таким образом, как бы под непосредственным покровом Божиим, протекали первые годы моей жизни в монастыре. По заповеди моего духовного отца архим. Лаврентия пребывать безысходно в обители в течение трех лет, я никуда не отлучалась, не только куда-либо подальше, но и за ворота на улицу.

Хотя монастырь наш был в городе, но мы не имели о нем понятия; по тогдашним правилам и порядкам монастырским, была одна выбранная старица, которая и ходила в город по всем монастырским делам: она ездила на почту, в лавки, в магазины, и все, кому что нужно было купить, обращались к ней. Она же была и привратница монастыря, келья ее была у самых святых ворот, и на ее обязанности лежало следить, чтобы не было самовольных отлучек в город. На противоположной стороне "большой" дороги, против самых св. ворот, была наша часовенка, на крыльце которой безотлучно сидела старица (или ее помощница), на ответственности которой, между прочим, тоже лежало наблюдение за выходом сестер из св. ворот. Остальные же ворота в других сторонах ограды были всегда закрыты, отворяясь лишь в исключительных случаях.

Упоминаю я здесь об этом для того только, чтобы напомнить, какие строгие порядки и уставы существовали в монастырях еще и в наше время, не говоря) старине. То ли встречаем мы ныне? Что же касается лично меня, то я не могу достоверно сказать: вследствие ли этого правила я никогда и не думала об отлучках из обители, как о недоступном, или же мне и самой никогда не приходило ни желания, ни нужды.

XV

Четвертый год моего пребывания в монастыре подходил к концу. В феврале месяце я получила (последнее) письмо от матери, в котором она убедительно звала меня домой на побывку, извещая о своей тяжелой болезни: "В случае моей смерти, - писала она, - на кого останется малолетняя сестра твоя, не говоря уже о доме, хозяйстве и всей усадьбе." Эти последние слова порешили мое колебание, побуждавшее меня ехать и, может быть, навсегда проститься с матерью. Эти слова ясно сказали мне, что последняя, предсмертная просьба ко мне матери будет: "Останься, займись хозяйством и сиротами, ради них не дай погибнуть усадьбе в чужих руках." А в силах ли я буду устоять против такой предсмертной материнской просьбы?

Не могу высказать, что происходило в душе моей. Я искала, с кем бы посоветоваться, но сердце мне подсказывало: "Лучше не спрашивай, - всякий скажет: "поезжай." Никому не известны твои взгляды, чувства, наконец, домашние обстоятельства, всякий будет судить поверхностно." Итак, не говоря никому о содержании полученного письма, я понесла его к матушке игумений, прося ее указания. К величайшему моему удивлению и прискорбию, она отклонила от себя ответ, сказав: "Я не берусь тут советовать, делайте, как знаете." Предоставленная собственному своему произволу, я попросилась у матушки игумений сходить к чудотворной иконе Тихвинской Богоматери в "Большой" монастырь, где со слезами изливала свою душу пред чудным ликом Пресвятой Девы, умоляя Ее принять на Свои руки все наше дело и внушить мне поступить так, как полезнее для души, а не для временной жизни. Затем, как бы несколько успокоившись, предавшись на волю и промышление Царицы Небесной, я все собиралась ответить матери своей письмом, но, зная,

что отказ мой приехать огорчит. ее, я мешкала писать, а время проходило. Вдруг 19 марта получаю телеграмму о том, что "мать моя скончалась" 17 марта, и что присутствие мое необходимо. Единственное, что вливало в сердце мое спокойствие, - это то, что она скончалась именно 17 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, память которого она особенно чтит, почитая его особенной милостыней, устраивая обеды для нищих, которых она всегда очень любила и часто кормила. На вопрос мой, отчего именно этот день между прочими она избрала для таких обедов, она отвечала мне: "Сама не знаю, я очень люблю этого угодника Божия, особенно с того времени, как ты решилась оставить меня, уйти в монастырь, я все думаю: не выдержать тебе суровой монастырской жизни, вернешься ты и поселишься где-нибудь в шалашике, как он, а я и знать не буду." Дело о моей поездке было решено, несмотря на то, что дорога была самая ужасная.

То, что нашла я в усадьбе после только что совершившихся похорон моей матери, действительно, превзошло всякое мое ожидание: малолетней сестры моей, Клавдии, единственной хозяйки дома, не было, ее взяли к себе соседние помещицы Бутеневы, так как оставить ее в усадьбе на руки прислуги и оставшегося еще управляющего И. Лар. не было возможности. Вещи, даже мебель, были растасканы, в доме полный хаос, опустошение, опекуна не было; духовное завещание, хотя и существовало, но, не будучи подписано надлежащим порядком, не имело законной силы. Очевидно было, что со смерти хозяйки, всякий заботился сам о себе. Камнем легло мне на сердце сознание или, вернее сказать, предположение, что всему этому причиной я. Но все же я еще не решительно обвиняла себя в этом, пока не предоставлю все на суд и осуждение более меня опытного духовного лица, которое и надеялась скоро встретить в лице о. архимандрита Лаврентия.

Справив на кладбище поминовение в девятый день, где я увиделась со всеми родными и знакомыми, мы возвратились в полупустелый дом, бывший так недавно еще "полной чашей", и предались сильнейшей скорби (разумею здесь нас троих, сирот: себя, сестру двенадцати лет и брата, приехавшего на то время из корпуса). Сестра, одна свидетельница кончины незабвенной матери, рассказала нам все подробности ее последних минут. В день своей кончины она заранее заказала обедню в своем селе, Поросе, так как это был день 17 марта - день преподобного Алексия человека Божия, столь любимого ею, конечно, не предполагая, что за этой обедней в первый раз помянется имя ее "за упокой". Не изменила она и обычая своего кормить нищих в этот день, заменив лишь обед рассылкой нарочито для сего испеченных хлебцев, которые неизменная наша старушка Марфа в ночь на семнадцатое разносила по избам бедных крестьян.

Когда ударили в колокол к обедне, о чем кто-то из домашних, находясь на улице и услышав, пришел возвестить ей: "К нашей обеденьке звонят", она, накануне напутствованная Св. Тайнами, перекрестилась, сказав: "Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем." Прошло не более получаса, она совершенно мирно испустила дух.

Детей своих, то есть нас всех, она благословила еще накануне, после причащения Св. Тайн, в присутствии священника. Он подвел к ней плачущую до бессознания сестру Клавдию, и она крепко прижала ее к груди своей, с любовью целовала и благословляла той самой иконой Тихвинской Божией Матери, которую незадолго перед сим, по просьбе ее, я прислала ей из Тихвина из Большого монастыря, где при чудотворной иконе ее и освятили. Брата Константина благословила заочно образом Спасителя в серебряной ризе. Когда же ей напомнили обо мне, она тяжело вздохнула и, прослезившись, сказала: "Я давно уже благословила ее, да почивает на ней благословение Божие; скорбела я за нее, - но да простит нам Господь. Я надеюсь, что она вечная за нас молитвенница, ее Царица Небесная избрала Себе." Все время до последней минуты она находилась в твердом сознании, как и обычно

умирающим такой длительной чахоткой, как умирала она. Оправившись несколько после первых впечатлений, мне надлежало озаботиться о дальнейшем устройстве наших дел. Проводив брата обратно в корпус, я прежде всего занялась устройством дел по дому и усадьбе; назначили опекуна, которому я все сдала по описи, дом (господский) запечатали, так как жить в нем пока было некому, а сестру отвезла к помянутым соседним помещикам, сама же поехала в Петербург хлопотать о сиротах, о назначении им пенсии и о принятии их на казенный счет в училища. Определить сестру в более высшее учебное заведение мне было весьма трудно, так как она оказалась вовсе неподготовленной, а лет ей уже было двенадцать. По пути со станции я, конечно, заехала к о. архимандриту Лаврентию, к которому так рвалась моя душа, чтобы поделиться с ним всем пережитым мной в течение около пяти лет монастырской жизни, а равно и для того, чтобы не без совета его начать дальнейшие распоряжения относительно родительского имения и сирот. Я не ошиблась в надежде найти в нем отца и советника во всем. Он благословил меня принять на себя все хлопоты по устройству детей, особенно сестры, сказав, что этим я исполню волю покойной матери.

Отдохнув у него в Ивере и душой, и телом, приобщившись Св. Тайн, я отправилась в Петербург хлопотать. Все мне удалось: брата приняли на казенный счет, вместо своекоштного, а сестру зачислили кандидаткой (тоже казеннокоштной) в наш же Павловский институт с тем лишь условием, если она выдержит экзамен для поступления в шестой класс, так как для младшего, седьмого, она вышла из лет.

Это условие являлось трудной задачей для меня. Конечно, можно было нанять гувернантку для приготовления сестры, но надежды на успех представлялось не много, потому что требовалось много усидчивого самоотверженного труда, чтобы достигнуть цели - подготовить для сдачи экзаменов. Я порешила остаться сама на все лето и заняться обучением сестры. Сколько за это время я перенесла всякого рода скорбей и нравственного труда, знает только моя душа, а описывать это не вижу нужды.

Пять месяцев пробыла я в миру, от 21 марта до конца августа, наконец, с Божией помощью, определила сестру в институт, и, побывав еще раз в Ивере, наконец вернулась в свою дорогую обитель.

XVI

Один из существеннейших вопросов для всякого живущего в обители - вопрос о келье, то есть о комнате, в которой кто живет. В некоторых монастырях почти все кельи "собственные", то есть откупленные на всю жизнь владелице, причем и ремонт, и поддержка кельи - все уже лежит на ее заботе, и она живет в ней полной хозяйкой, берет себе келейницу, то есть послушницу для услуги, по своему усмотрению и выбору. Те же, которые не имеют средств "купить келью", живут в общих помещениях, т.е. где и с кем придется. В Тихвинском монастыре, хотя и не исключительно, но существовал такой порядок, с той только разницей, что кельи продавались в "собственность" только или уже пожившим в монастыре и испытанным известным искусом, или же, если и вновь вступающим, то лицам более зрелого возраста. Поступая в монастырь, я не смела и думать просить себе келью; теперь же, возвращаясь, с благословения о. архим. Лаврентия я решилась непременно просить келью, предложив за нее и деньги. Когда я говорила об этом с батюшкой, то он сказал замечательное слово, которое не лишним считаю привести здесь: "В толпе, в молве могут жить люди или уже совершенные, всегда сосредоточенные во внутренней клети сердца своего, или же люди пустые, не знающие цены уединению." Когда, приехав, я стала просить матушку дать мне келью, предлагая за нее и деньги, то она объявила мне, что и сама хотела предложить мне келью в новом, только что этим летом выстроенном корпусе, но только без платы, так как лес на весь этот корпус пожертвован лесопромышленником Снетковым, которого дочь я

приготовляла в пансион, и который сам просил, чтобы в этом доме была келья и для меня. Эта келья была во втором, то есть в верхнем, этаже, угловая, выходившая окнами на восток и на юг. Несказанно обрадовалась я такому счастью и готовилась перейти туда с какой-либо старицей, которой, как я думала, поручат меня, как еще молодую послушницу, ибо мне было лишь двадцать шесть лет. Каково же было мое удивление, когда, вместо старицы, мне назначили келейницу-послушницу и еще одну вновь поступившую молоденькую четырнадцатилетнюю девушку из Санкт-Петербурга, дочь смотрителя Охтенского кладбища Любовь Колесникову. Обе они поместились в одной передней келье, а я одна - во второй. Келейница наша целый день проводила на "послушаниях" (то есть на казенных работах, общественных, по назначению), а мы с Любой, как обе клиросные, ежедневно ходили ко всякой службе, а в течение дня каждая в своей келье сидели за рукоделием. Я твердо решила, с помощью Божией, заняться обучением себя внутренней молитве и самовниманию; и теперь, когда ничто не отвлекало меня, ни дела, ни даже лишние люди, я вся предалась своему делу.

Переписываться с моим духовным отцом и руководителем о. Лаврентием мне было вполне удобно, так как письма могла отправлять непосредственно на почту, что мне было дозволено, и я нередко получала от него письма. Счастливейшее и лучшее время из всей жизни моей было это время. Ему я обязана всем, если что-нибудь приобрела для своего внутреннего человека. Настолько спокойно и тихо внутренне жилось мне, что я не смела верить в возможность продолжительности такого состояния, не "крестной", по общему понятию о монашеской жизни, представлялась она мне, а "райской", насколько доступен рай на земле; я на опыте извела силу слов Христовых: "Царствие Божие внутри вас есть." О молитве Иисусовой, то есть о внутреннем непрестанном призывании имени Иисуса Христа, писал мне о. Лаврентий; "Молитва Иисусова, это бесценное достояние истинных монахов, в привыкшем к ней сердце делается как бы занозой, беспрестанно напоминающей о себе и ноющей, когда нет ей Сладчайшего Имени! Ревнуй о внутренней молитве, - в ней вкусишь счастье, блаженство среди невзгод и всех напастей!" По его совету я начала заниматься изучением наизусть канонов: покаянного, молебного Богоматери, не употребляемых в числе "монашеских правил", так как эти последние я, от навыка, давно уже затвердила, благодаря хорошей памяти. В этой келейке я впервые сподобилась вкусить во время молитвы нечто подобное тому, как видела у матери Феоктисты, подробности о чем, впрочем, умолчу.

В этой келейке я имела возможность целыми ночами сидеть за чтением священных книг, запершись в ней, чтобы огонь не мешал другим. Наконец, в ней получила я возможность возобновить обычай матери моей, ею мне указанный в пример возможного подражания, - кормить нищих, что, впрочем, делала с осторожностью, боясь возбудить ропот соседок; впрочем, ближайшая соседка моя, жившая на одних со мной сенях, сочувственно относилась к этому и хранила нашу тайну. Она сама была благородная старушка М. Гордеева. Да и не часто позволяла я себе это утешение: нищие старушки разговлялись у меня лишь в Рождество Христово и в день Успения Богоматери. День же Алексия, человека Божия, я помнила иным способом милостыни, что сделалось для меня еще доступнее, когда я получила наконец наследственно отказанные мне дедом моим деньги, заимообразно данные им под векселя г-же Максимович. Г-жа Максимович тоже умерла, и долгов у нее оказалось немало, почему учреждено было конкурсное правление, назначившее в продажу ее имущества и земли, находившиеся в разных уездах Новгородской и Тверской губерний.

Деньги я получила не все, а только самую сумму долга 2750 рублей, проценты же, которых тоже немало насчитывалось, мне обещали уплатить после следующих торгов и продаж имений ее, но я больше не заявляла и не хлопотала, а так как мне более не высылали,

то я и не гналась за большим.

Так проходило время, и я уже несколько лет жила в своей бесценной для меня келейке. В первый же год моего водворения меня покрыли рясофором, то есть постригли в малый постриг, который, в сущности, не считался пострижением и назывался "малым". В те времена еще не было запрещения переменять имена в рясофоре, и меня назвали именем Аркадии, так как незадолго умерла у нас свечница Аркадия, и имя это хотели возобновить.

Приняв хотя и малое пострижение, я, конечно, озаботилась в душе о том, как бы сделаться достойнее для ношения иноческой одежды и даже камилавки, которую возложили на мою голову. Принять на себя какой-либо более трудный подвиг я не смела без благословения, да и наученная о. архим. Лаврентием не налагать их своевольно, я не предпринимала ничего, кроме вышеприведенного образа жизни, в самообучении внутренней молитве и самовниманию. Милосердный Господь, никогда не оставлявший меня без вразумления во всех более серьезных обстоятельствах моей жизни, и тут не замедлил явить мне Свой о мне Промысл следующим образом.

Видится мне во сне, что я с другими нашими сестрами иду по дороге где-то в поле на открытом месте. Идем мы все по двое, парами, в полной монашеской одежде. Вдруг я увидела идущих поперек поля и направляющихся прямо к нам (сбоку) двух человек. По виду их, - один был монах, в мантии и камилавке, креп которой (то есть наметка) был спущен у него на лицо; в руках он держал постригательный крест, как новопостриженный; другой - подобен нищему, шел возле монаха в разодранной белой рубахе, с всклокоченными волосами; как юродивый, он подпрыгивал и ел кусок белого хлеба, который держал в руках. Подходя ближе ко мне, он как бы поддразнивал нас своим куском и все подпрыгивал, улыбаясь. Монах же шел молча с опущенными вниз глазами и, казалось, весь был углублен в себя. Я обратила на них все свое внимание, а когда огляделась, товарки мои все куда-то исчезли, и я стояла на дороге одна. Между тем явившиеся подошли и пошли подле меня. Юродивый пристально и зорко смотрел на меня, сначала молча, а потом сказал: "Что задумалась? - Неси свой крест, как брат Иоанн, а посмотри-ка на меня, как беззаботно и весело я поскакиваю, снедая свой кусочек. Так и ты, поскакивай, да поскакивай своей дорожкой, пусть люди смеются, - ничего! Скачи себе, как Симеон юродивый, скачи, - вот уже недалеко и церковь!" С этими словами он действительно вскочил в двери церкви, к которой мы незаметно подошли, за ним тихо вошел и Иоанн. Я проснулась. Истолковала я себе этот сон так: не надобно ухитряться изыскивать себе пути спасения, а в простоте сердца идти путем, указанным Промыслом Божиим, не обращая внимания, не останавливаясь сторонними насмешками и молвой, нести свой монашеский крест.

В последующей жизни моей я не могла не подметить в себе как бы оттенок юродства; по мере сближения моего и столкновения с людьми, я не могла не сознавать, что не умею жить и даже держать себя среди них. Это замечают и все, кто меня знает ближе. Крест ненависти и зависти ко мне людской есть спутник всей моей уже и теперь долголетней жизни; но, думаю, он доведет до могилы меня, то есть будет неизменным моим спутником, О, зато он станет над моей могилой не только, как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя.

XVII

Мирно и тихо протекала жизнь моя в этой келье, и уже близился к концу шестой год моего в ней пребывания. Мне не верилось в возможность продолжительности такой тихой, безмятежной жизни; вот-вот, думаю, стрясется какая-либо беда; ведь по русской пословице, - "затишье перед бурей бывает". Или, думаю еще, что Господь Своими непостижимыми судьбами Промышления о нас дает мне это время для нравственного отдохновения и

подготовки к предстоящей мне, может быть, тяжелой жизни, исполненной многих скорбен.

И я не ошиблась, предчувствие не обмануло меня. Мне уже готовилось и, так сказать, готовилось на глазах моих, сильное искушение: я не только лишилась своей келейки, лишилась и обители Введенской, чего никогда бы не могла ожидать; искушение это превратило всю мою жизнь, как во внешнем, так и во внутреннем ее строе.

Но такова была воля Божия. Видно, путем скорбей проводятся великие дела Промысла Божия. "Бог в тяжестях Его знаем есть". Но для нашего близорукого ума, для нашего малодушия как тяжки и безвыходны кажутся наши скорби! Мы не умеем, да и не хотим в безропотном повиновении усматривать в них великие цели Промысла. Я уже упоминала, что при переходе моем в келью матушка игумения поручила мне вновь вступившую девочку, дочь смотрителя Санкт-Петербургского Малоохтенского кладбища, Любовь Колесникову.

Колесниковы были люди состоятельные и набожные. Мачеха Любушки (отец ее был женат на второй) нередко приезжала к Любушке и, конечно, останавливалась всегда у нас. Она часто вспоминала, что муж ее, уже престарелый, очень желает и сам поступить в монастырь, к чему и ее склоняет. Однажды меня позвали к матушке игумений, которая и говорит мне: "Вот Любушкина мать (Авдотья Игнатьевна) желает поступить в монастырь, так как и отец Любушки поступает тоже в Реконскую Пустынь (в сорока верстах от Тихвина), она желает занять именно вашу келью, в которой вы живете, и вносит за нее вкладу 800 рублей; что вы на это скажете?" Такая неожиданность привела меня в совершенное замешательство; я молчала. Она повторила свои слова, прибавив, что 800 р. - "кусочек" для монастыря. Видя, что ей угодно, чтобы я освободила келью для вновь вступающей женщины, я не нашла другого ответа, как сказать: "Благословите, я уйду из кельи, но куда мне перейти?" Я знала, что кроме одной, в нижнем этаже большого каменного корпуса, кельи, не было ни одной свободной, но не предполагала, что матушка игумения решилась предложить мне ее, так как она была чрезмерно сырая, в нее ежегодно весной подходила вода, а так как она была внизу и почти в углу, то сырость там была постоянная. Каково же было мое удивление и обида, когда именно на эту келью указала мне матушка игумения! Я едва устояла на ногах и поспешила удалиться. Все бросилось мне на ум: "Не сама ли она говорила мне, что так дорожит моими трудами? Не она ли сообщила мне, что строившие этот корпус Снетковы просили ее дать мне в нем келью? Не она ли сама не брала с меня неоднократно предлагаемых ей денег и в виде взноса, и за келью? Да не тысячи ли платились ей за мои труды, когда я занималась с детьми, и деньгами, и мукой, и другими предметами хозяйства, и лесом, и всем! - Где правда? Где человеколюбие? - Посылать в такую сырую, чуть не в подвальную келью девицу нежного, благородного воспитания!" - Такие и подобные мысли буквально физически закружили мне голову; я едва дошла до садика, разведенного против нашего дома, невольно взглянув на отворенное окно моей келейки, не могла идти далее и упала на скамейке в саду. Когда, несколько оправившись, я поднялась в свою келейку, то, сряду же бросившись перед иконами, воскликнула со слезами: "Прощай, мое сродное гнездышко, мое училище духовное, мой раек на земле, местечко первого опыта моих монашеских подвигов и молений! Какой уголок приютит теперь мое наболелое сердце?" Мне казалось, что с лишением этой кельи, я лишилась приюта и ласки всей обители. Молва о переводе меня в другую келью из-за 800 рублей Авдотьи Игнатьевны, новой и еще неизвестной обители женщины, произвела всеобщий ропот, что было безызвестно и матушке. Я же стала спешить перебираться, чтобы скорей покончить это грустное для меня дело. К удивлению моему, Люба моя не осталась в моей келье с мачехой, она перешла со мной; осталась же с ней наша келейная, а, вместо нее, нам дали еще молодую девушку,

деревенскую, отец которой, вдовец, принял на себя ради Бога жизнь странническую, или юродивую, а ее определил в монастырь. Новое мое помещение состояло тоже из двух отделений: первое - совершенно темное, а второе - в два окна, но окна эти были маленькие, квадратные, выходили они прямо к забору сада (казенного), и для моих занятий вышивкой и другими рукоделиями, особенно при моем (от природы почти) слабом зрении, это было весьма неудобно. Вся стена под этими окнами от одного угла и до другого, а также и самые углы на целый аршин были покрыты плесенью, никогда не уменьшавшейся. Мы пробовали обсушить ее, накаливая кирпичи и поставляя их к стенам и в углы, но это производило только прель и большую сырость. Тяжелый, нетерпимый воздух производил постоянную головную боль. Уединяться для своих духовных занятий, к которым я так привыкла в прежней келье, не могла я, кроме как ночью, так как послушницы мои только спать могли в первой темной келье, а когда чем-нибудь занимались, то им необходим был свет. Переход наш в нее был к осени, в сентябре месяце, на самое тяжелое, сырое и темное время. Не прожила я, а промаялась всю зиму и ждала еще худшего, ждала прихода воды весенней, по обычаю почти ежегодно посещавшей и наполнявшей всю келью на аршин высоты и более, причем, конечно, жительницам со всем своим келейным скарбом приходилось выбираться куда-нибудь в чужую келью, где пустят "утопленниц", как у нас смеялись сестры друг над другом шутя. На мое счастье, в этот год была не велика вода и пришла только под келью (причем все же дала себя знать), но все же не в келью. (Впоследствии это зло было уничтожено проведением подземных труб.).

Наступила Святая Пасха. По обычаю своему я пригласила и дорогих гостей моих - нищих старушек, как и всегда, двадцать числом. В конце Литургии собрались они, пока еще все в церкви, чтобы избежать лишней молвы (уходили же они от меня в то время, когда все сестры, разговевшись, вероятно, ложились отдыхать); здесь я поимела более осторожности, так как соседи мои были для меня лица новые и не знали о моем обычае.

Когда я пришла домой, то, как и всегда, не раздеваясь, в полной монашеской одежде стала служить своим дорогим гостям, в лице которых видела Господа, сказавшего: "Елика сотвористе единому сих меньших, Мне сотвористе." Я, с помощью Любушки, подавала им чай, кофе и все разговенье, что было приготовлено, и внутренне радовалась этому; Аннушка же наша в темненькой комнате наливала и приготавливала. Вдруг все мы были испуганы слышавшимся у самых дверей наших бряцанием железа. Не успели мы и опомниться, как дверь растворилась, и в нее вошли трое мужчин: два солдата ввели под руки крестьянина со связанными цепями руками, и все остановились у порога. В ту же минуту Аннушка бросилась к ногам связанного и, зарыдав, вскрикнула: "Тятенька!" Солдаты объяснили мне, что этот "связанный" - духовный преступник, посажен в острог за духовные проступки, и что он попросился на Христов День к дочке, которая будто бы здесь; если можно, то они оставят его на весь день, а если нет, то сейчас же уведут обратно. Я тотчас же послала Аннушку спросить на это благословение у матушки игумений, которое и последовало. Солдаты, которых мы тоже напоили чаем и угостили, чем пришлось, сняли с Петра (так звали отца Анны) железные обручи и оставили его на мою поруку до вечера, когда хотели опять прийти за ним. По удалении солдат, мы ввели Петра в другую келью и предложили поместиться с гостями. "Мир вам, и я к вам", - сказал он, садясь, но говорить много не стал, а почти все время плакал и крестился. Гости откушали и, получив, что им было приготовлено, пошли со слезами благодарности. Когда Петр остался с нами один, а мы сели на место ушедших и стали разговляться сами, он встал и, обратясь к иконам, пропел три раза: "Христос Воскресе". Слезы ручьем катились по его исхудалому и бледному лицу; мы, так всегда податливые к слезам, конечно, не уступили ему в этом, но как-то торжественно радостны были эти слезы.

Затем я предложила ему лечь отдохнуть, на что он возразил мне: "Это, спать-то, о, выплусь, Бог даст, еще в остроге, на досуге; а разве я здесь не отдыхаю?" Когда я стала уходить в трапезу обедать, оставляя Петра с его дочерью отобедать в келье, я подумала: "Не убежал бы он, вот хлопот-то наделает." Вдруг Петр, обратясь ко мне, сказал: "Не беспокойся, матушка, не убегу, не уйду, с места не сойду! Не наделаю тебе горя, у тебя и так его немало!" Весь день провел у нас Петр; хотя в тоне речи его и движений и был оттенок юродства, но говорил он все так дельно, умно и высоко духовно, что нельзя было не убедиться, что он добровольно попадает в острог, и на самом деле - великий подвижник. Вечером, прощаясь с нами, он горько плакал, говоря, что уже более не увидится со мной; на вопрос мой, отчего он так думает, он отвечал: "Тебя, матушка, далеко уведут, высоко поставят, великие дела тебе Бог поручает!" Я, конечно, пренебрегла эти слова, но теперь они часто припоминаются мне. Много у Бога сокровенных рабов, и различными путями идут они.

Зима, проведенная мной в такой сырой келье, положила навсегда следы на мое здоровье. С наступлением более теплых дней, когда стало возможным выходить на свежий воздух, я большую часть дня стала проводить на крылечке, и сравнительно хотя немножко мне полегчало. Когда случалось мне встречаться с матушкой игуменией, она всегда предлагала мне, между прочим, вопрос: "Как поживаете", как бы желая приласкать меня; но вопрос этот, вместо всякого ответа, вызывал невольно слезы, выступавшие на глазах. Она и сама, видимо, раскаивалась в своем поступке, но делать уже было нечего, приходилось ждать, не освободится ли келья иная, но таковой не оказывалось. На 26 июня, день Тихвинской иконы Богоматери, когда тысячи богомольцев приходят на поклонение Владычице, приехала из Иверского монастыря живущая там за оградой, с разрешения митрополита Исидора, старица дворянка В. А. Теглева, которую я очень хорошо знала, познакомившись с ней еще с первой побывки моей у о. архимандрита Лаврентия. Глубокая преданность ее и уважение к святому старцу прикрепили ее к Иверу, где она проводила строгую монашескую жизнь, неопустительно посещала все монастырские богослужения, кроме сего, служила святому старцу архимандриту Лаврентию и средствами, и всем, чем могла. Я уже упоминала, что о. Лаврентий никогда не имел денег, которые и считал не своими, когда получал свою настоятельную долю от монастыря, а общими с бедняками, коим всегда все и раздавал. Когда же, под старость, недуги его осложнялись, силы изменяли и требовали подкрепления более легкой и не столь суровой пищей, как братская трапеза, он не имел на это средств, равно как не имел решимости обременять кого-либо своими немощами. Вот тут-то В. А. Теглева и оказалась для него благодетельницей: она в своем доме, со своими служанками приготавливала ему кушанья, за которыми оставалось только придти его келейнику, сама навещала его и служила ему от всего усердия. Прибыв в Тихвин, она остановилась, по знакомству, у меня, но какой ужас произвела на нее моя келья, с вечно заплесневшей наружной стеной и черными от сырости углами! Переночевав лишь одну ночь, она поспешила выбраться в гостиницу мужского, так называемого, "Большого" монастыря, несмотря на многолюдство по случаю праздника. Оттуда она ежедневно навещала меня и очень жалела меня, зная, как пагубно влияла на здоровье эта сырость. Возвратившись в Ивер, она обо всем рассказала о. Лаврентию, который категорически написал мне, что если к осени не переменят мне келью, то это будет благословной причиной переменить самый монастырь, а рисковать так здоровьем нет никакой необходимости и даже грешно: "Все, - писал он, - надо в меру и с рассуждением." Но вот наступил и сентябрь, затхлый, удушливый воздух сделался постоянной моей атмосферой, а исхода не предвиделось; я снова стала похварывать, лишилась способности петь на клиросе, читать и канонаршить, и мне жаль было клироса, да и клирос жалел меня, как одну из первых своих певиц. Все старицы и сестры жалели меня,

видя, как я изменилась по наружности; но они еще не знали, что происходило в душе моей, какая томительная борьба.

Уже четырнадцатый год моего пребывания в Тихвинском Введенском монастыре подходил к концу; эта обитель была колыбелью моей монашеской жизни; в ней протекли и самые лучшие, и самые горькие минуты моей жизни духовной; я настолько любила эту обитель, что мне казалось, что нигде, кроме нее, я не найду ни счастья, ни спасенья души; оставить же навсегда - мне было страшно и помыслить, тем более, что я ни в каком более монастыре не бывала и намеченного места, где бы преклонить мне свою голову, я не имела. Положиться в этом случае на выбор и указание о. Лаврентия я, конечно, не сомневалась, но мысль, что где бы то ни было, а все же придется снова начинать привыкать к новой обители, к новым сестрам, новым порядкам и по всему быть как "новенькой", совершенно путала меня. С другой же стороны, не смела и преслушать совет и благословение моего отца и духовного благодетеля, да и очень уже трудно было мне жить в сырости, тем более, что по всегдашней моей слабости зрения, я должна была заниматься рукоделием ли или чтением у самого окна, следовательно, у самой сырой стены. Душевные мои страдания, которых, конечно, никто не знал, были сильнее физических недугов; но время шло, наступил ноябрь, установился зимний путь, а я не трогалась с места, да, вероятно, и не достало бы у меня на то решимости, если бы не случилось следующее обстоятельство, положившее всему конец.

XVIII

В начале ноября месяца получены были матушкой игуменией бумаги из Новгородской Губернской Палаты (ныне упраздненной), по которым вызывали меня туда, по делу завещанного мне наследства, состоявшего в деньгах по векселям, о чем я уже упоминала, дедом моим - воспитателем моей матери. От игумений требовалось удостоверение в том, что я не состою в пострижении монашеском, а меня вызывали явиться лично. Матушка игумения, в силу благословной причины, не стала удерживать меня, отпустила в Новгород к монахине Евлогии, справлявшей обычно разные для всех поручения в городе, поручено было найти надежных попутчиков, с которыми мне бы ехать на лошадях до станции Чудово, 120 верст, а я стала собираться в путь. Сердце мое чувствовало, что собираюсь из родной обители навсегда, да, кажется, это чувствовалось и всеми, хотя все знали причину отъезда. Сестры и старицы, собравшиеся проводить меня, особенно любившие меня старицы, монахини Варсонофия, Анатолия, Анфия, Глафира, Ельпидифора и другие со слезами говорили мне: "Не приедешь ты к нам больше, голубушка наша, так и чувствуется, что не приедешь." Матушка игумения, когда я прощалась с ней, благословила меня и сказала: "Не торопитесь возвращением, погостите кстати, покончивши дела в Новгороде, у своих в усадьбе; Бог даст, пройдет зима, а затем я приготовлю вам келью, более удобную." Я благодарила ее и с горькими слезами рассталась с ней. Доехав до Чудова, мы расстались со своими спутниками; до Новгорода тогда не было еще железной дороги, и приходилось снова ехать на лошадях. Но я еще в обители предначертала себе план, - прежде заехать в Ивер к своему отцу, старцу Лаврентию, принять его благословение и рассказать ему все и относительно причины моей поездки. Но люди духовные смотрят на дела иначе, чем мы, близорукие: они во всем усматривают пути Промысла Божия, а не простые случайности, как думаем мы. Вот что сказал мне на этот раз о. Лаврентий: "Св. Евангелие учит нас, что и "волос главы нашей не падает без воли Отца Небесного", поэтому не думай, что перевод твой из твоей любимой и дорогой тебе келейки в дурную и сырую совершился бы без воли Божией; твоя мудрая и добрая игумения не могла бы сего допустить, если бы не попустил, не повелел ей сего Господь. Тебе нужно было изведать и этот крест для большей опытности в дальнейшей

твоей жизни. Около семи лет провела ты в твоей любимой келейке, как сама ты говоришь, привыкая в ней к уединенным келейным монашеским подвигам, к тайной внутренней молитве, и т. под.; значит, срок твоего обучения этому истек, надо было поучиться еще и самоотверженному терпению; ну вот и поучилась немножко, а между тем это послужило тебе как бы вызовом тебя к иному образу жизни, иного рода трудам, на пользу общую; вот и тут поучишься, как злато в горниле искусишься, а потом и совершит Господь хотение Свое о тебе; я уже говорил тебе, что Он Сам тебя как бы за руку ведет, - предайся Ему всецело, Он лучше нас с тобой знает, какими путями нас вести до Царства Небесного. В Тихвин более ты не возвратишься; в Новгороде четыре женских монастыря, не торопясь, можешь присмотреться во всех, и где придется более по душе, там и останешься, впрочем, Господь Сам все устроит."

Пробыв несколько дней в Иверском монастыре, подкрепившись многократной беседой со старцем своим, поговев и причастившись Св. Тайн, я отправилась в Новгород, где и остановилась у одной давно знакомой мне монахини Зверина-Покровского монастыря, Параскевы Алексеевны Калашниковой, старушки-дворянки, имевшей свою собственную келью. Чтобы принять кого бы то ни было, надобно было спросить разрешения у м. игумений, что тотчас же и последовало. Приехала я вечером, после вечерни. Игуменией в то время была там матушка Лидия, хотя и из дворянской фамилии, но не получившая никакого образования; а по сиротству отданная на воспитание с шестилетнего возраста в Новгородский Свято-Духов монастырь, где впоследствии была и казначеей, а затем переведена в Зверин монастырь настоятельницей. Она была самого живого, сангвинического темперамента, но вместе - очень добрая и приветливая. Увидев меня на следующий день в церкви и узнав о причине моего приезда в Новгород, она пригласила меня к себе и даже предложила мне монастырских лошадей, когда надобно будет ехать в присутственные места. Я, конечно, благодарила ее, но предпочитала или ходить пешком, или ездить на извозничьих санках, чтобы не стесняясь посещать Новгородскую Святую, которой там так много, не забывая и совет о. архим. Лаврентия "присмотреться к монастырям. Говоря по совести, ни один из них мне не понравился, сравнительно с правилами и образом жизни Тихвинского монастыря. В городе беспрестанно и повсеместно можно было встретить монахинь разных монастырей, так как им не возбранялось ходить самим в город, и на богомолье в соборы и другие монастыри, и в лавки, и даже в торговые или общественные бани, и кому куда нужно. Для непривычного взгляда эта толкотня монахинь по городу неблагоприятно влияла на душу. Впрочем, как я после узнала, сама жизнь монастырская поставляла их в такую необходимость. Например: в Духовом монастыре не было даже и трапезы общей; каждая сестра должна была не только ежедневно готовить себе что-нибудь пообедать, на что, разумеется, посвящалось все утро, и она лишалась возможности быть у Литургии, но надобно было и достать то, из чего бы приготовить обед, поневоле чуть не ежедневно приходилось им, бедняжкам, ходить на базар за провизией, которой закупить на долго они не могли, потому что не имели средств, едва зарабатывая понемножку; да и работы-то свои надо было куда-нибудь сбывать, а куда, как не в тот же город, не в тот же мир. В других монастырях, хотя трапеза и была общая, но весьма скудная, а все остальное надо было купить, даже дрова и растопки, и уголья для самовара, и решительно все. Писала я обо всем этом и о своем тяжелом впечатлении по сему поводу отцу Лаврентию, но он ответил мне строго: "Советовал бы я тебе, овца, не браться обсуждать чужие порядки и дела по своему узкому кругозору и одностороннему взгляду. Сотни лет стоят эти старинные древние обители; тысячи инокинь в них жили, подвизались и спаслись, и ныне живут, подвизаются и спасаются, а ты кто такая, что все забраковала и расхаила? Внимай себе, - посмотрим, как сама-то будешь жить."

Из этого письма я поняла взгляд и желание моего духовного отца и не смела более противиться, зная по опыту его прозорливость, и стала подумывать пристроиться в одном из здешних монастырей. Более всех мне нравилось в Десятинском монастыре, где в то время была игуменией м. Александра, кроткая и духовная старица. Одна только Параскева Алексеевна, у которой я гостила, знала о моем намерении, по воле моего духовного отца, остаться в одном из Новгородских монастырей. Она предупреждала меня, чтобы я до окончательного решения своего, где именно останусь, никак не говорила игумений Лидии, то есть Зверинской, о своем намерении; иначе она, как более всего дорожившая хорошими певчими и пением, ни за что не даст мне воли в выборе монастыря и станет уговаривать остаться здесь у нее. На другой же день после этого разговора я поехала к поздней Литургии в Десятинный монастырь, после которой думала зайти к игумений Александре и попроситься в ее монастырь, в чем она не отказала бы, как я это достоверно знала. К сожалению моему, я узнала, что она уехала в Юрьев монастырь по делам к благочинному и вернется не ранее трех часов. Между тем в путях Божиих, вероятно, уже решена была моя судьба. Как только я вернулась в Зверин монастырь, мне сказала моя милая старушка Параскева Алексеевна, что уже несколько раз приходили от м. игумений пригласить меня туда, так как к ним приехал некто г-н Аренский, любитель и композитор духовного пения, будет сам петь под скрипку свои пьесы и делать спевку клиросным. Когда я сказала, что не застала игумений Десятинской, Параскева Алексеевна возразила: "Уже не судьба ли вам остаться у нас?" И в самом деле, в этот же вечер сказалась эта судьба; и проситься мне в монастырь не пришлось, а меня просто оставили, даже упрашивали, чтобы я осталась. Когда я вошла в зал, там уже пел г-н Аренский под аккомпанимент скрипки составленную им "Херувимскую песнь", которую потом и стал разучивать петь клиросных, и эта "Херувимская" и по сей час поется там под названием "Аренской". (Кстати упомяну, что г-н Аренский никогда не был учителем пения Зверина монастыря; он, как мне помнится, был доктор и прежде жил в Новгороде, а затем переселился в Петербург, откуда и навещал иногда своих прежних знакомых, особенно любителей пения, в числе которых была и м. игумения Лидия, и делился с ними своими произведениями.)

По приглашению матушки я пошла к ней, там застала, кроме Аренского, и других любителей духовного пения и некоторых певчих монахинь, пришлось попеть и мне, и как-то само собой решилась моя судьба, что я осталась в этом монастыре.

XIX

Мне дали келью в верхнем этаже одного из корпусов, а послушание назначили, конечно, клиросное, сряду же поручив регентовать на правом клиросе. Это случилось оттого, что незадолго до моего приезда м. Дария захворала и отказалась от дела, а заменившая ее м. Мария чрезвычайно тяготилась своим назначением, потому что и действительно не была особенно способна, а по своему робкому характеру, при чрезвычайно строгом и взыскательном отношении м. игумений к пению, совсем терялась до болезненности. Но нелегко было и мне сряду же стать во главе и незнакомого мне общества, и не вполне знакомого и дела; хотя я и хорошо знала пение и музыку и регентовала хором еще в институте, но в Тихвине регентшей не состояла, а между институтским и монастырским пением - разница большая. К тому же в простом пении, начинать каковое и управлять им лежало тоже на обязанности регентши, было большое различие в напевах; все почти гласы пелись иначе, чем в Тихвине, и мне приходилось стараться забывать, чему навывала в четырнадцать лет, и привыкать к новым напевам. Находились между певчими и добрые сестры, которые понимали мое затруднительное положение и с любовью показывали мне; но находились и такие, которые сряду же отнеслись ко мне с завистью, и теперь находили

удобный повод как бы отметить мне насмешками и колкостями, посылаемыми по моему адресу. Все это я понимала, все чувствовала; но решилась ради поддержания, насколько было возможно, мира не подавать и вида, что я страдаю душой. Я всегда старалась заговаривать с моими ненавистницами, старалась их попросить мне показать, чего я не знала, хотя большинство из них знали меньше меня. В праздники, когда пели все нотное, у меня сходило все прекрасно, и м. игумения всегда благодарила и хвалила меня; но зато будни были днями моих искушений. Все восемь гласов стихир, восемь гласов тропарей, восемь гласов ирмосов, конечно, нигде не были напечатаны или написаны в том своеобразном виде, как пелись, приходилось по слуху и по памяти навывать. Мало-помалу дело стало укладываться; сестры недовольные усмирились, я стала привыкать к напевам, и казалось, что конец моему испытанию наступал. Но тут возникло другое, несравненно большее искушение, чего я никогда не ожидала и не могла предполагать.

Описывать его не стану, да не соблазнятся слышащие, скажу только, что оно последовало со стороны стоящих во главе управления. Не знаю, выдержала ли бы я эту напасть, если бы не послал мне Господь помощь и подкрепление в лице одной старицы, ризничей монахини Людмилы. В то время, как многие из всех знавших мое невинное гонение, отвернулись от меня из страха подпасть неудовольствию матушки, эта старица буквально взяла меня под свое покровительство, утешала меня не столько словами, сколько делом; бывало, скажет, что у ней очень много шитья и позовет меня на целый день к себе шить, и среди общей с ее помощницами и с ней вместе работы, незаметно пройдет день, который, если бы я оставалась в своей келье одна, я бы весь провела в слезах и в смущении. Или, бывало, даст мне в келью каких-нибудь лакомств и позовет меня с кем-нибудь из певчих, и тому подобное. Но развеваемое и сдерживаемое таким образом в течение дня горе, постоянно камнем давившее сердце, давало себе полную свободу ночью в слезах и размышлениях Враг всеобщего спасения, начав одолевая меня, усердно доводил свое дело до конца. Он внушал мне такие мысли: теперь уже все равно я утратила навсегда все свое спасение, все монашеские подвиги; раз сорвавшись с своего корешка, из первой обители, мне не привиться здесь ни по духу самой обители, ни по козням, коих здесь так много, ни почему бы то ни было. Если пойду еще в другую обитель, будет то же, или еще худшее. Да и какая эта обитель (как и все городские) - среди городской суеты, монахини живут всецело на своем содержании, не имея возможности заняться "единым на потребу", по необходимости должны "пещися и молвить о мнозем", а сколько между ними взаимного греха, - недружелюбия, зависти, самолюбия и проч., личину только монашества мы здесь носим, только морочим людей, живем хуже, чем в миру, лучше уже прямо уйти в мир и жить уединенно, тихо содеяв в тайне свое спасение. Таковы были мои мысли, а на самом деле я чувствовала, что никогда не решусь уйти в мир; я вспоминала мое первое призвание - видение, бывшее еще в институте, мне становилось стыдно и страшно своего душевного состояния, я падала перед святыми иконами, как растерянная; не молитва тихая, последовательная, а какие-то несвязные восклицания срывались с уст как бы невольно: Господи, не дай мне с ума сойти." Господи, поддержи меня, я изнемогаю, погибаю в борьбе, или положи конец моим испытаниям", и тлел, Никто не знал этих моих страданий, моих бессонных ночей, никто не видел моих слез и рыданий. Но Всевидящее Око все видело и не оставило и на этот раз без утешения Своего малодушного ребенка.

Однажды после обеда вышла я погулять близ ограды со стороны Волхова, берег которого до самой ограды представляет широкий прекрасный покос. Незаметно пошла я направо и дошла до самого конца ограды, до угловой башни, и присела на случившийся там подле башни камень. Не могу сказать - задремала ли я, или просто нашло на меня как бы

забытье какое, только слышится мне, что в городе, на соборе, бьют часы; я считаю... бьет 12 часов. "Не может быть, - думаю я, - если 12 часов дня, то как же в первом отошла трапеза, а сколько прошло времени, пока я вышла и вот дошла, не торопясь, до этого места; а если 12 часов ночи, то, и тем более, не может это быть." Смотрю по направлению часов и вижу: тьма непроглядная, лишь циферблат, освещенный висячим перед ним фонарем, показывает стрелку на 12 часах, а крутом непроницаемая темнота. Вдруг чей-то голос говорит мне: "Вот видишь: в монастыре-то хотя уже и темненько, но еще сумерки, вечер, а в миру давно уже полночь." Я очнулась, сряду же поняла урок вразумления, и мне полегчало на душе. Говорю это к тому, что, может быть, и не мне одной приходили подобные мысли, так вот как вразумительно избавил меня от них Господь, никогда и ни в каком затруднительном случае не оставлявший меня без вразумления и утешения. Если и попускает Он иногда сильные и тяжелые искушения, так что мы, немощные, едва-едва сносим их, то это для нашего большего смирения, чтобы мы сознали и от души почувствовали, "куда мы годны без Его святой помощи".

Время шло и с собой уносило все прошлое, пережитое: и хорошее, и дурное, и тяжелое. Миновали бури, наступала тишина, затем снова волновалось житейское море и снова утихало, как и обычно бывает, так случалось и в моей маленькой жизни. Но все, что я считала тяжелым и страшным в то время, как оно совершалось, было лишь как бы преддверием тех тяжестей, которые суждено было мне Промыслом Божиим понести в свое время. Но да будет

XX

Проживши года три в Зверином монастыре, я, с благословения матушки игумений, поехала в Иверский монастырь спроведать своего дорогого старца, о. архимандрита Лаврентия. Он был уже очень слаб, почему сдал управление монастырем Боровичскому отцу архимандриту Вениамину (о котором я многократно упоминала), а сам пребывал "на покое".

Новый настоятель покоил старца, как сын отца; сам он поместился в кельях о. наместника, чтобы ничем не нарушать покоя о. архимандрита Лаврентия, предоставив ему оставаться в занимаемых им настоятельских кельях. Вообще он относился к нему с искренней любовью, преданностью и глубоким почтением, предупреждал всякое его желание, охранял от всего, могущего его огорчить, для чего по несколько раз в день навещал его кельи, наблюдая неизменно тот порядок, который был введен самим старцем. Такое внимание со стороны настоятеля доставляло благоговейному старцу то единственное удобство, к которому только и стремилась теперь его душа, - среди полного, свободного от начальственных забот уединения, предаваться беспрепятственно молитве и богомыслию.

Когда я прибыла в Иверский монастырь, то о. архимандрит Вениамин, давно уже знавший меня, не замедлил пригласить меня к себе, при чем и сообщил мне о состоянии дорогого для обоих нас старца, о чем мы оба немало поскорбели. Он сообщил о моем приезде старцу, который пожелал поскорее увидеть меня, чем я, конечно, и воспользовалась, так как это и была цель моего приезда. Меня проводили в кабинетик старца, где он за последнее время пребывал почти неисходно, сидя или лежа на своей койке, в ватном подрясничке, с коим не расставался и к ночи.

Я застала его сидящим на койке Вид его поразил меня Все в нем говорило, что он угасает, и вот-вот уже совсем угаснет. Подошед к нему, я молча опустилась на колена, ибо не имела силы выговорить ни одного слова. Он понял мое смущение, у него самого заблестели на глазах слезы, он молча положил мне руку на голову и не без усилия проговорил свое обычное мне наименование: "Овца." Затем началась наша беседа, но как-то отрывисто, краткими фразами, каковыми я старалась ограничиваться, чтобы не беспокоить его.

У изголовья койки стоял маленький столик; на нем лежала книга (в четырех долях листа) церковной печати; то был акафист Успению Божией Матери. Указав мне на эту книгу,

батюшка сказал: "Вот моя теперешняя Собеседница, моя Утешительница; вспоминаю с Нею родную мою Лавру Киевскую; пред Нею, Владычицею, я произносил мои обеты иноческие при пострижении, а теперь готовлюсь отдать ответ в них. Милости прошу у Ней, Владычицы, да покроет Она меня, грешного, нерадивого инок." Затем, помолчав, еще сказал: Только и прошу Господа, чтобы не лишил Он меня силы держать непрестанно в уме и в сердце сладчайшее имя Его до последнего издыхания." Затем он поручил мне открыть ящичек и вынуть из него небольшую рукопись, что я и исполнила. "Это прекрасная молитва батюшки нашего о. иеросхимонаха Парфения (канонизирован Украинской Православной Церковью в 1993 г. Прим. ред.), которую он сам составил и читал, вот и теперь ее повторяю; хочешь ты, так возьми себе, и тебе она пригодится," - сказал он мне

Не бесполезно, думаю, написать эту молитву, вот она: "Безмужняя Эммануила Мати, кристалловидная Параклита Невесто. При последнем моем издыхании предстани ми в помощь; Кровию Божественною Христовою напитай мя в далекий путь и даже до Царских врат, донележе по-клонюся Судии, мне любимому, провожатая ми буди, милости Пучина, Утешительница Всепетая"

Опасаясь долго утруждать старца-праведника и лишая его постоянного молитвенного общения с Богом, я спешила удалиться и дать ему покой. Испросив благословения поговеть и причаститься Св. Тайн, я простилась с ним, причем он сказал: "Приходи ко мне каждый день после поздней Литургии; в эти часы я свеж и могу говорить, а к вечеру уже совсем слабею; приходи, - соутешимся еще, пока здесь, на земле."

В течение немногих дней пребывания моего в Иверском монастыре, я с наслаждением пользовалась милостивым позволением старца посещать его и жаждала этого времени, как "елень источника водного".

Кратки, но, тем не менее, глубоко назидательны и незабвенны для меня были эти последние с ним беседы. Самый вид этого праведника, как бы уже покончившего все расчеты с земной суетой, и всей мыслью жившего лишь в Боге, сильнее всякого слова говорил душе. Впрочем, несмотря на физическую слабость свою, он охотно, с отеческой любовью беседовал со мной, видимо, стараясь привести душу мою в такое состояние, чтобы она прочувствованно, убежденно сознала всю ничтожность, то есть маловажность, скорбей и невзгод здешней жизни, взирая очами веры на обещанное за них воздаяние. "Не у до крове стаете, - приводил он слова Апостола, - значит, надобно терпеть и подвизаться даже до пролития крови, а не изнемогать под легкими (сравнительно) ударами мелочной жизненной суеты." "Этими неизбежными столкновениями, - говорил он, - Господь обучает лишь тебя для дальнейших подвигов терпения больших скорбей, которые придут в свое время и тебе самой, и другим, которые потребуют от тебя же утешения и подкрепления. Скорби - это удел монашеской жизни, ее неотъемлемая принадлежность, от самого начала ее и до конца. С возрастом духовным монаха возрастают и скорби, то есть степень их; младенцу - младенческие скорби, а зрелому возрасту - зрелые скорби, комуждо противу силы, как сказано. Нет тяжелей скорбей начальнических; но подчиненным как-то не верится этому, им кажется наоборот, что настоятельская жизнь и легка, и безбедна, между тем как на самом деле она есть тягчайший крест из всех иноческих крестов, который своей тяжестью придавливает к земле нашего брата раньше времена Вот придет время, - сама испытаете на себе." Такими совершенно ясными словами, или косвенными намеками, но всякий раз во время наших бесед батюшка не пропускал случая напомнить мне о трудности и высоте настоятельской должности, всегда при этом прибавляя: "сама узнаешь, сама испытаете", как бы в ответ на мою мысль, что все это он говорит для того, чтобы я не осуждала строго настоятелей в их невольных ошибках и проступках человеческих. Но, наконец, я решилась сказать ему.

"Родной отец мой! Вы так мне говорите, как будто мне самой предстоит это начальственное время."

"Так, овца, именно так; тебе оно и предстоит, к сожалению; ты на то и отмечена Богом, и избрана, а ихже избра Господь, тех и оправдает, умудрит. Вникни в пути твоей жизни, коими тебя Господь ведет, вдумайся, - и сама поймешь Его промыслительные пути."

Вот ты с первой минуты вступления в монастырь все находишься близ настоятелей; не думай, чтобы это было случайно, у Бога нет случаев, а все промыслительно. Находясь часто при настоятелях, ты имеешь возможность близко видеть их дела управления, их отношения к сестрам и взаимно - сестер к ним; это дает тебе опыт, который в свое время и принесет тебе большую пользу. Видя в этих отношениях и доброе, и злое, примешь в руководство себе эти примеры, ибо пример - лучший, чем любая книга, наставник. Не говорю тебе приглядываться нарочито, или обсуждать действия настоятелицы - сохрани Бог от этого, это дело не твое, а все же нельзя не видеть того, что перед глазами, и надо из всего извлекать себе уроки." Когда я в последний раз перед отъездом пришла к батюшке, эта последняя наша беседа была особенно трогательна, а для меня - и незабвенна. Оба мы сознавали, что видимся в последний раз здесь, на земле. Он встретил меня словами: "Что, уезжаешь ныне?" Вместо ответа я заплакала, сев подле него на стул. Заплакал и он, и уже не скрывал своих слез и своего смущения. Мы оба молчали; наконец, он прервал молчание, сказав: "Жаль мне тебя, овца; много горя предстоит тебе в жизни, многими скорбями подобает нам вникнуть в Царство Небесное". Господь и Владычица не оставят тебя, возлагай на Них все свое упование. Мой путь уже кончается; не сегодня-завтра, отойду в иной мир. Если обрету дерзновение, - не забуду тебя и там, перед Господом, а ты поминай меня." - Затем он указал мне на киот, стоявший в углу; подле киота стояла палка, служившая ему посохом, на которую он опирался при ходьбе; и приказал мне подать ему этот посох, что я и исполнила, думая, что он хочет встать. Взяв в левую руку посох, он приказал мне стать на колени против него и положил мне правую свою руку на голову, благословив меня, и сказал: "Вот, возьми этот посох, обопрись на него и держи разумно и твердо. Ты будешь матерью для сестер твоих, я это знаю, у тебя добрая, отзывчивая душа, люби их..." Далее он не мог продолжать, глаза его наполнились слезами. Конечно, рыдала и я. Снова водворилось молчание; я все еще стояла на коленях, опершись на его старческий посох, который стал моим достоянием, и по сейчас храню его, как святыню. Затем о. Лаврентий, сделав над собой, видимо, усилие, уже совсем бодро сказал: "А какая радость будет, овца, когда, по милосердию Божию, мы с тобой снова свидимся в Царствии Небесном, там уже нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а ведь увидимся, овца, я верую Господу, ей увидимся. Ну, гряди теперь с миром, подвизайся пока: "тецыте, дондеже постигнете". Я поняла, что его любвеобильная душа не хотела отпустить меня подавленную чувством разлуки с ним, и он старался утешить надеждой, что эта разлука лишь временная. Так рассталась я с незабвенным и незаменимым отцом моим, которого после сего уже больше не видала. Через непродолжительное время я получила известие от о. архимандрита Вениамина о кончине старца-праведника.

XXI

Между тем жизнь моя в монастыре потекла опять обычным порядком. Не смею умолчать тут и еще об одном бывшем мне вразумлении свыше, каковое может послужить и другим, подобным мне, на пользу; так как и цель моих этих записей не та, конечно, чтобы только сообщить кое-что о себе, ибо на что это мне, да и кому когда и случится прочесть их, тот, конечно, и не знает меня, и тогда меня уже не будет на свете. Единственная же цель моя в этом - принести пользу инокиням, ибо все мы недугуем одними общими нам язвами скорбей и немощей наших. Мне же, немощнейшей и худейшей из всех инокинь, Господь нередко

посылал великие подкрепления и откровения свыше, по обычному Его промыслению: "изводить честное от недостойного и приизобиловать благодать Свою там, где умножается грех".

В Тихвинском Введенском монастыре относительно говения существовал такой обычай: все манатейные монахини и сама матушка игуменья исповедовались у "духовника", иеромонаха из Большого Тихвинского монастыря, приезжавшего для сего всегда, когда назначалось говение. Все же остальные сестры, и рясофорные, и послушницы, и новоначальные, имели своим духовником одного из белых монастырских священников. В Новгородском Зверином-Покровском монастыре хотя и был духовником для всех сестер без исключения иеромонах Юрьева монастыря, но только тогда, когда говели все сестры, то есть в посты; а если бы кому когда понадобилось или захотелось поговорить и приобщиться в иное время, вне поста, то приходилось исповедоваться у одного из своих белых (монастырских) священников. Многие из сестер, а в том числе и я, весьма тяготились этим. Очевидно, что в монашеской жизни белый священник не мог быть хорошим руководителем и советником в том, что ему самому было совершенно чуждо и по опыту, и по расположению. Известно, что многие священники не только не сочувствуют монашеской жизни, но прямо порицают ее и даже смеются над ней. Тяжело нам было открывать им свою душу, тяжело и спрашивать о своих духовных недоразумениях, и просить совета. Вот, например, ночная молитва составляет обязанность инокинь, и неисполнение ее не может не тяготить совести. Когда говоришь об этом священнику на исповеди, то не только не получаешь пользы, но еще больше соблазна и повода к лени; так мне самой священник ответил на это: "Ночь дана для покоя, надо ж и выспаться, какой тут грех." Да и много подобного рода ответов, даже с оттенком насмешки, приходилось слышать вместо назидания, так что получался большой соблазн, и мы недоумевали, как быть, к кому обращаться. Вот я и надумала: исповедоваться у священника лишь для формы, не говорить всего, что на душе, и не спрашивать советов, а выжидать случая, когда будешь исповедоваться у иеромонаха, которому можно во всем открыться. Приходилось ждать этого иногда и довольно долго, когда по краткости летних постов, Петрова и Успенского, по какой-либо причине не приходилось отговорить. Тяжело чувствовалось на душе, да делать было нечего, а затем привыкла, как будто так и надо. Вдруг видится мне однажды сон.

После вечерни, которую я слушала в церкви, будто бы я осталась в ней поправлять лампы (чего на самом деле никогда не делала, потому что не несла послушания свечницы). В церкви сумеречный полумрак, глубокая тишина, никого нет, я одна хожу с лампадами то к одной, то к другой иконе. Вдруг я увидела у себя на руках младенца, весьма малого, но такой неописанной красоты, светлого, прозрачного, и сказать не могу, как он хорош, но, к великому моему изумлению, он кажется мне мертвым, и я ужасаюсь этой мысли и думаю: "Откуда он взялся у меня на руках?" На это слышу ответ, не знаю, чей: "Из недр сердца твоего." Чтобы лучше налюбоваться им, ибо я понимала и чувствовала, что он не простой младенец, а Богомладенец, я поднесла Его к иконе Богоматери, помещавшейся точно так, как в Иверском монастыре Иверская икона, на колонне позади правого клироса, пред каковой горели особенно ярко лампы. Чем более я люблю Им, тем сильнее убеждаюсь, что это - Богомладенец Иисус; я начинаю ходить с Ним по церкви, радуюсь, что никого нет, и я заперта в церкви, следовательно, никто не отымет Его от меня, умиляюсь, обливаю Его слезами, прижимаю к сердцу с величайшим благоговением, лобызаю Его ручки и ножки и вдруг, обратив внимание на то, что Он лежит на моих грязных от лампадной копоти и масла руках ничем не покрытый, обнаженный (совсем без одежды), я подумала: "Как же это я держу Богомладенца такими грязными руками, да и рукава моего подрясника грязны и засалены, и

все белее на мне грязно." Я хочу переодеться и ищу, куда бы мне на время положить Богомладенца. Иду опять к иконе Богоматери, против которой у противоположной колонны стоит скамья, на которую я и положила Его. Поспешно стала я раздеваться; но, увы, - ничего чистого не оказалось со мной, так что пришлось надевать на себя все прежнее, только что снятое с себя, и я еще более огорчилась, сознавая, что еще более загрязнила руки о нечистую свою одежду. Вдруг мне вспомнилось, что у меня в кармане есть новые платки чистые. Я тотчас достала их и одними покрыла рукава подрясника, начиная от плеч, другими обернула руки, чтобы снова принять Младенца. Обернувшись к колонне лицом, я стала на колена, чтобы взять младенца, но и тут, пораженная Его красотой, я все еще любовалась Им, и вдруг увидела на колонне, бывшей белого цвета, надпись красными кровяными буквами: "Агнец, за мир закланный." Это еще больше убедило меня и в том, что Он действительно не простой Младенец, а Богомладенец Иисус, и в том, что Он мертв, а не спит. Еще с большим благоговением, поклонившись Ему, я лобызала Его святые стопы и, простирая руки, чтобы взять Его, воскликнула: "Коима рукама прикоснуса нетленному Твоему телу, Агнче Божий?" И что же? Мертвый Богомладенец милостиво, ласково взглянул на меня и произнес: "Теперь ты чувствуешь, каково принимать неочищенною совестью Агнца, за мир закланного."

Так премудро и милостиво вразумил меня Господь к должному приготовлению к принятию Св. Тайн.

Святитель Николай
(Высокий путь)

Подобного рода было и еще однажды мне вразумление. Я не переставала смущаться характером монастырской жизни, и между прочим таким вопросом: почему скорби составляют как бы ее принадлежность? Мне казалось, что без них гораздо легче и удобнее "содевать свое спасение"; со спокойным, мирным сердцем и молиться лучше, чем со сжатым и измученным. Кроме того, и некоторые принятые в монастыре подвиги и лишения, по моей юности и изнеженности, были мне непосильны, например, сухоядение в продолжение целой недели, и многие подобные, которые меня только изнуряли до болезни. А главное, смущало меня и еще одно странное явление: наша матушка-игумения ни за что не позволяла лишний раз поговорить, даже Великим постом; кроме монахинь мантийных, никто и не смел благословиться поговорить второй раз на Страстной неделе. Я и в мире живши, даже и в институте, где нам не запрещали это, - говела Великим постом два раза, а тут, думаю, в монастыре, и лишают этой единственной поддержки нравственной, между тем внешние подвиги налагают непосильные. Все это в совокупности не вязалось в моем понятии, и я смущалась. Вижу я, однажды, сон: иду я где-то в открытом поле по дороге, но мне надо свернуть вправо, а дороги туда нет; все как бы гряды очень длинные, в таком виде, как бывают осенью, когда -овощи с них уже убраны, а в бороздах между грядами грязно и мокро. Я стою в раздумье, как идти: бороздами - мокро, грязно, а грядами - вязко будет, думаю. Навстречу мне идет, вижу, старец-архиерей с посохом в руке. "Посмотрю, - думаю, - как он пойдет, так пойду и я."

Поровнявшись со мной, он говорит мне: "Пойдем, я проведу тебя" Левою рукой опираясь на посох, правой он взял меня за руку и повел по гряде вдоль ее, и говорит: "Хотя и вязко, не раз увязнет нога, правда, по все же путь высокий; а низким путем - смотри, сколько грязи и воды". Долго шли мы с ним, и он все поучал меня, а я разговаривала с ним без страха, хотя и узнала в нем Святителя Николая. Наконец мы пришли к какой-то церкви, или к часовне, - не помню, и вошли в нее. В ней стояло большое Распятие, а по правую сторону его висел на стене образ св мученицы: Параскевы (Пятницы). Я стала поклоняться пред Распятием и; как только наклонилась головой до земли, Святитель так сильно ударил меня по шее посохом

своим, как будто хотел отрубить голову; я не успела опомниться от удара, - последовал другой, третий и до пяти. "За что, - думаю, - он меня бьет, или в самом деле хочет отрубить голову, но за что!" - "Не рассуждай, не умничай, - ответил он на мою мысль, - если ударил, то, значит, так надобно. Забила, что послушание беспрекословно повинует, а не умничают?" Тем временем я поднялась, а Святитель, ласково улыбаясь, глядел на меня, и, указывая на икону мученицы Параскевы, сказал: "Вот она, Невеста Христова, и главу свою предала на отсечение, - в жертву Жениху своему; а ты и мало потерпеть не хочешь, и мудрствуешь, не имея еще духовного разума. Смирись, терпи - и спасешься."

XXII

В бытность мою в сем Зверином-Покровском монастыре случилось немаловажное для моей скромной и убогой жизни событие.

В этом монастыре, как известно, находится чудотворная икона св. праведного Симеона Богоприимца, спасшая весь Новгород от моровой язвы. Я уже упоминала, что находилась с первого времени моего поступления сюда под ближайшим покровительством старицы-ризничей, матушки Людмилы. Она-то и поручила мне заняться составлением акафиста св. праведному Симеону Богоприимцу. Впрочем, дала она это поручение, думаю, на основании моего ей признания в том, что мне приходилось уже и раньше заниматься подобными работами. За святое послушание Господь помог мне сделать это, насколько сумела я при полнейшем старании, конечно, надеясь лишь на помощь свыше молитвами св. праведного Симеона. Чтобы не быть узнанной по руке писания, я написала его славянским шрифтом и для полнейшего сокрытия тайны, сложив тетрадку в восьмую долю листа, запечатала в конверт печатью моего деда с гербами и титлами, и опустила в почтовый ящик, рано утром. В тот же день почтальон принес его, как адресованный на имя нашей матушки-игумении Лидии вместе с другой корреспонденцией.

Каково же было мое положение, когда часов около одиннадцати, то есть перед временем трапезы, меня позвали к матушке-игумении, которая и стала показывать мне этот акафист, вся будучи объята радостью о получении такового великого, по ее отзыву, дара для нашей обители. Она всем показывала его, и не только его, но и самый конверт с его загадочной печатью, причем не было конца догадкам и вопросам, и суждениям о том, кто бы мог быть написавший и доставивший его. Чтобы не выдать себя, и я высказывала различные предположения. Кто-то назвал имя Николая Васильевича Елагина, как известного составителя акафистов; на этом предположении и остановились. На следующий день матушка-игумения поехала к Владыке, коим был в то время в Новгороде (то есть викарием) Преосвященный Серафим, впоследствии епископ Самарский. Владыка оставил рукопись у себя, чтобы посмотреть ее, после чего обещал дать ответ. Можно себе представить, как интересовал исход этого дела всю нашу обитель, не исключая и священников. Конечно, для меня этот вопрос имел двойной интерес; с замиранием сердца я ждала решения Владыки, как произнесения приговора на мою затею.

Наконец этот день наступил; Владыка прислал к матушке-игумении, чтобы она на следующий день прибыла к нему. Не знаю, по какой причине, матушка-игумения на этот раз вместо своей келейной взяла с собой к Владыке меня, так что мне и пришлось узнать прежде всех участь своего акафиста.

"Прекрасно и тепло составлен акафист, - сказал Владыка, - только нелогично, непоследовательно приведены события, перепутаны позднейшие раньше первых и наоборот. Очевидно, составитель не знал о необходимости держаться порядка во времени событий." (Я и в самом деле впервые слышала об этой непременно принадлежности акафиста.) Матушка-игумения с тревогой спросила: "Что же, Владыко, значит он и не годится?" - "Как не годится,

вполне пригоден, но надобно над ним поработать, то есть переставить некоторые икосы и кондаки один на место другого. Эта нетрудно - составлен он довольно хорошо; но потребуются немало времени, а у меня-то его и слишком даже мало. Если пустить его так в цензуру, - возвратят, только лишняя проволочка выйдет. Если хотите, возьмите его назад, перепишите мне уже не церковным шрифтом, а обычным, притом пореже строки, чтобы свободнее было поправки делать; я, когда удосужусь, буду понемногу заниматься им. А если хотите, можете пока и так читать его келейно, пожалуй, и в церкви, но не во время богослужения, а вот во время чтения вашего монашеского правила." Нельзя и высказать, как мы были рады обе с матушкой, - просто на крыльях полетели мы сообщить скорее эту радостную весть своей обители. "Вот, - думала я, - наконец и наш великий угодник Божий, стоящий на рубеже Ветхого и Нового Заветов, будет иметь свой отдельный акафист!" Мне же и поручила матушка-игумения переписывать акафист именно так, как приказал Владыка, что, конечно, я и исполнила с великой радостью. Между тем стали и почитывать его за нашим монашеским правилом, для чего собирались чуть ли не все сестры, всем им он нравился, особенно, когда матушка-игумения поручила мне, как регентше, положить на ноты припев, то есть последние слова икоса: "Радуйся, Симеоне Преплаженне, Богоприимче Праведный."

Долго пришлось, однако, ожидать нам от Владыки акафиста в исправленном виде. Затем еще дольше проходил он все инстанции цензуры, пока, наконец, не добился разрешения и по напечатании сделался всеобщим достоянием. Но мне не суждено было дожидаться этого в своей обители. В то время вообще с большим затруднением и как бы неохотно разрешались подобного рода печатания; да и Преосвященного Серафима переместили из викария Новгородского на самостоятельную кафедру в Самару, так что дело акафиста еще и от этого обстоятельства замедлилось. Между тем и меня, бывшую еще рясофорной, перевели в Званский-Знаменский монастырь в должность казначеи, а вместе и помощницы начальницы Державинского женского епархиального училища.

Кажется, через год, или около этого, вызвали Пр. Серафима в Санкт-Петербург для присутствия в Св. Синоде, каковое обстоятельство и послужило к скорейшему напечатанию акафиста св. праведному Симеону Богоприимцу. По исправлении его, как следует по правилам, он сам же и представил его в цензуру, да и похлопотал о беспрепятственном разрешении скорейшего напечатания. Я, находясь далеко, не была извещена о том вожделенном дне, когда в первый раз был прочитан, при полной торжественности, этот уже напечатанный акафист, на день памяти св. Симеона 3 февраля. Тем не менее, великий, милостивый угодник Божий не забыл в этот день утешить и меня, убогую, потрудившуюся для него по мере своих слабых сил, и сам явился мне во сне дивным образом, обещая свое заступничество.

Будто бы пришла я к какому-то настоятелю на благословение. Прошед прихожую, вошла в довольно просторную комнату, как бы зал, оттуда в небольшую, неширокую, угловую комнату, которую я сочла или гостиной, или же кабинетом хозяина. Обстановка этой комнаты была необыкновенна, и я хорошо ее запомнила: прямо против входа из зала были два окна, и третье окно - по левую сторону; все эти окна были во все пространство от пола и до потолка, так что не было ни подоконников, ни рам, а сплошное стекло. Обе эти стены были сплошь уставлены растениями, зеленеющими роскошной зеленью; стояли ли они в горшках, или вели начало с земли, я не знаю, только верхушкам их как бы и конца не виделось, да и потолка, как помнится мне, в этой комнате не было. Хотя и все окна едва виднелись из-за сплошной зелени, но в комнате было очень светло. Особенно светились две лампы, горевшие перед двумя иконами, помещавшимися: в правом углу - икона Спасителя, а в левом - Богоматери; обе иконы в золотых ризах. В простенке между двух окон против входа из зала

стоял как бы диван, перед ним продолговатый стол, а по обеим сторонам стола, с боков от дивана стояло по одному креслу. Больше мебели я не видела. По правую сторону была еще дверь, как бы во внутренние покои хозяина, откуда он и вышел. Прежде всего, обратясь к иконе Спасителя, он сказал: "Нине отпускаеши раба Твоего" и проч. Окончив молитву, он благословил меня и пригласил сесть на кресло, стоявшее по правую сторону дивана, к столу, а сам сел на диване. Вид его внешний был чуден! Лицо белое, как бы прозрачное, окаймленное седыми, как снег, волосами; одежда, помню, была зеленого цвета, но ряса ли, или что другое - не поняла я. Взгляд его был полон милости и любви ко мне, точно я была ему близкая, своя, а не так, как грешница перед праведником. Во всей комнате слышалось необыкновенное благоухание, как бы от многих душистых цветов, так что я неоднократно думала, откуда оно могло истекать, когда везде была лишь зелень, хотя и чудная зелень, но все же цветов не было.

Когда мы сели, у нас началась беседа, но привести ее не могу; помню только, что смысл ее был тот, что он обещал мне свое покровительство и утешал меня, еще говорил и о блаженстве праведных, начинающемся еще в сей жизни. Я помню, что я почти все время молчала, потому что так сильно переполнена была сладостным чувством, что уста мои как бы запечатались. Долго ли продолжалась эта таинственная беседа, я не могу определить. Но вот по тому же направлению, откуда пришла и л, показалась монахиня, высокая, тонкая, стройная, бледная, с чрезвычайно скромным симпатичным лицом; она была в мантии, в куколе на голове, с которого креп был несколько спущен на лицо ее. На груди ее был наперсный крест. Когда она, прошед первую комнату (зал), вступила в дверь той, где мы сидели, то св. Симеон встал, и мы все трое стали опять молиться на иконы. Потом он подошел к ней и, поздоровавшись, как уже со знакомой ему, отрекомендовал нас друг другу так: "Это - само смирение и кротость", а указывая ей на меня, произнес: "Это...", - назвав добродетели, коих я вовсе не имею. Мы поклонились друг другу и снова сели на свои прежние места, а вошедшая - на другое кресло, по ту сторону против меня. Что говорили мы, или даже говорили ли, я не помню; знаю только и достоверно помню, что я вкушала сладость, небесную сладость, мало-помалу наполнявшую мою душу все больше и больше. Но вот св. Симеон Богоприимец сказал: "Надо же и угостить гостей моих!" Хотя никого, кроме нас, не было во всем доме, то есть где мы проходили и сидели, но вот со словом праведника явились перед нами на столе три прибора, то есть перед каждым из нас; а затем, хорошо помню, что как бы сверху спустилось блюдо, на котором лежало кушанье; еще когда спускалось оно, то, по мере его приближения, аромат его усиливался, а когда оно совсем стало на место посреди стола, то благоухание наполнило всю комнату, так что я едва выдерживала производимую им сладость души. Вид явившегося кушанья был похож на большие ломти белого хлеба, уложенные рядом один возле другого и облитые чем-то густым, белым и горячим, потому что от него шел как бы пар, издававший это благоухание. Когда все это совершилось, св. Симеон встал, возвел очи к небу, и, прочитав молитву, благословил, сказав обычные слова: "Христе Боже, благослови рабом Твоим." Помню хорошо, что все мы взяли по куску из лежащего на блюде кушанья и положили на свои тарелки. О других не знаю, вкусили ли они этой пищи, о себе же помню хорошо, что я не смела до нее дотронуться, хотя и положила к себе на тарелку. Я вкушала, и вкушала с избытком, но не вещественно лежавшую передо мной пищу, а какую-то необычную сладость сердца, которая, как у пресыщающегося пищей тленной, все более и более насыщала мою душу, и, если бы не кончилось это видение, если бы не проснулась я, то не знаю, осталась ли бы душа моя во мне.

Пробудившись, я была всецело объята этим сладким восторгом; образ св. Симеона

Богоприимца живо стоял передо мной, и я чувствовала какую-то близость к нему, любовь сильнее прежней, и с той поры моя вера и любовь к нему стали еще сильнее. Весь следующий день и далее меня не покидало это сладостное чувство, пока наконец не сгладилось обычной жизненной суетой. Но и до сего времени, хотя прошло уже немало лет, во дни памяти его предстательства, и мне бывает очень легко и отрадно. На следующий день, 4 февраля, меня известили телеграммой из Зверина монастыря о совершившемся там торжестве. При сем мне стало яснее, почему сам праведник, по великой своей милости, не презрел и меня, и я от всего сердца возблагодарила Бога.

XXIII

Раздрание завесы

Случилось мне бывать в Валаамском монастыре, в то время, когда там настоятельством известной святостью жизни старец, игумен Дамаскин. Я сподоблялась неоднократно иметь с ним духовные беседы, и даже у него исповедоваться. В последние годы его жизни мне не случилось быть у него; должность казначеи в Званско-Знаменском монастыре не позволяла мне отлучаться, а между тем старец Дамаскин скончался. Прошел уже и не один год после его смерти, и я, признаюсь, нисколько о нем не думала, разве только поминала на молитве, и то не всегда.

Однажды мне случилась большая скорбь, так что я серьезно подумывала отказаться от должности. В это время как-то видится мне во сне, что я пришла в келью к о. игумену Дамаскину и стою в дверях его гостиной, ожидая его прихода из его кабинета, дверь в который была с правой стороны неподалеку от окна. Вот показался из кабинета о. Дамаскин, точно такой, каким я его знала при жизни его, только бодрее и как будто моложе, и очень веселый; он в черной монашеской рясе, в клобуке и с наперсным крестом на груди. Поклонившись, я подошла под благословение; он благословил меня и сказал, указывая на угол, где висели святые иконы с горевшей перед ними лампадой: "Помолись."

Оба мы с ним стали молиться и креститься; потом он сел на диван и мне предложил сесть на кресло по правую его сторону. Началась наша духовная беседа; о чем именно, я не помню теперь, кажется мне, что я изливала перед ним свою скорбь.

Хорошо помню, что наконец он спросил меня: "А знаешь ли ты, что значит раздрание церковной завесы надвое в Иерусалимском храме, во время крестной смерти Спасителя?" Я отвечала ему, как училась из Священного Писания, что это означало разделение Ветхого и Нового Заветов. "Хорошо, - отвечал он, - это верно по-книжному; а ты сама подумай, не относится ли это как-либо к нашей монашеской жизни?"

Я стала вдумываться, и, сама не будучи уверена в точности и справедливости моего мнения, отвечала: "Думаю, что это означает вот что: раздирается душа человека, стремящегося к Богу и к Богоугождению, раздирается надвое, делаясь духовной, не переставая принадлежать и живущему в нем плотяному человеку, раздирается она, отсекая, отдирая от себя сладкую, но падкую на грех волю внешнего своего человека; раздирается бедное сердце его, само себя раздирая пополам, на куски; одни из них, как негодные, тем не менее, сродные ему, отдирает, бросает в миру, а другие несет, несет, как фимиам чистый, Христу своему.

О, как тяжело бывает иногда бедному сердцу, как рвется оно и страдает, буквально раздираясь пополам!"

Никогда ничего подобного я не слышала наяву, и не ожидала слышать; но теперь во сне говорила это с таким увлечением, что вся обливалась слезами. О. игумен отвечал мне: "Да, не лишил тебя Господь Своей благодати. Тебе ли малодушествовать и унывать в скорбях? Мужайся, и да крепится сердце твое упованием на Господа." С этими словами он встал и

снова благословил меня.

Я проснулась вся в слезах; в слезах уже не скорби, а невыразимой радости, надолго подкрепившей мои слабые силы.

(Это сновидение описала я и послала в Валаамский Монастырь.)

XXIV

Накануне получения назначения настоятельницей 1881-го года, февраля 2-го

Состоя в должности казначеи Званского-Знаменского монастыря лишь четыре года и от рождения имея лишь сорок лет, я не только не думала никогда о получении сана настоятельского, но, если бы кто мне и сказал об этом, то сочла бы это или за насмешку, или за дерзкую шутку.

В конце февраля месяца 1881 года видится мне следующий сон. Иду я где-то и подхожу к ржаному полю; рожь так высока, густа и хороша, что на редкость, а мне предстоит все это поле пройти, именно рожью, так как дороги никакой нет, а идти я должна. Жаль было мне топтать такую роскошную на вид рожь, но, уступая необходимости, я пошла. Тут я стала замечать, что колосья ржи хотя и большие, но почти пустые, они перезрели, и зерно вытекло; я подумала с удивлением: "Какой же это хозяин настолько беспечный, что сам себя лишает такой драгоценности, не выжав своевременно?" Хотя и никого не было видно нигде, даже на далеком расстоянии, но мне кто-то (невидимый) ответил на мои мысли: "Тебе предназначено выжать все это поле." Это ужаснуло меня: как, подумала я, могу я выжать все поле, когда я и вовсе не умею жать? Между тем, с этими размышлениями, я проходила этой рожью все дальше и, наконец, дошла до конца его: раздвинув последнюю долю ржи, остававшуюся передо мной, руками, я увидела, что поле уже кончилось, и тут же, сряду, начинается огромное пространство воды, которому и конца не видно; но я почему-то знала, что это вода наливная, а не самобытная, что тут - луг, сенокос, затопленный временно, и что поэтому, имея под ногами твердую почву, идти этой водой безопасно, и я пошла; между тем оказалось довольно глубоко, чем дальше, тем! глубже, и я стала бояться утонуть, так как плавать не умею, а вода покрывала меня по шею. Вдруг сверху, как: бы с неба упал прямо мне в руку (правую) настоятельский посох, и тот же голос, который говорил мне о ржи, снова сказал при падении посоха: "Опирайся на него, - не потонешь." Действительно, с помощью этого посоха, я шла далее водой, и, наконец, вода стала мелеть, скоро показался луг зеленый, и невдалеке белокаменная ограда, в которой виднелись храмы и корпуса, то есть монастырь. Из храма выходил крестный ход, направлявшийся в те ворота, к которым подходила и я, опираясь на посох. Почти в самых воротах мы встретились, певчие запели входное "Достойно есть", и крестный ход вместе со мной направился обратно к храму. Этим сновидение кончилось. Пришедши по обычаю утром к матушке-игумении своей, которая была мне и восприемной при постриге матерью, я рассказала ей этот сон. Матушка-игумения всегда была как-то нерасположена ко мне, она почему-то всегда усматривала во мне свою соперницу или нечто вроде ее. Совесть моя не укорила меня ни разу ни в чем против нее; я всегда старалась быть не только исполнительницей в своих обязанностях, но нередко делала и выше своих сил и обязанностей; так, например, подметив, что она старается отстранить меня от исполнения прямых обязанностей казначеи, я старалась в угождение ей исполнять самые черные и вовсе незнакомые мне работы: бывало, надену рабочие сапоги, подпояшусь по рабочему кафтану веревкой и поеду или пойду в лес с работниками для надзора за рубкой проданных им бревен; иногда в течение целого дня принимаю на берегу реки Волхова дрова, проданные монастырем, или сижу в кирпичном сарае при укладке кирпича рабочими и т.п. Но и при этих самоотверженных трудах я не была лишена самых колких и едких оскорблений со стороны матери-игумений: когда по принятии дров или леса, или кирпича, или чего-либо, я

приходила к ней с отчетом и за расчетом мужиков, то, прежде чем выдать деньги, она посылала работника монастырского проверить мою приемку. Между тем, я говорю перед Богом, что делала все по совести чисто и честно.

Нередко она посылала меня и за сбором на месяц или на известное время в разные города, преимущественно же в Петербург. Когда мне Господь посылал хороший сбор, и я привозила ей многое, то она решительно всегда говорила мне, что я это сделала, то есть потрудились, не ради Бога, то есть не ради послушания и усердия к делу, а просто "из тщеславия", для похвальбы. Когда же случалось привозить поменьше, то беда моя была еще больше. От училища, бывшего при монастыре, в котором я была утверждена "помощницей начальницы", она меня совсем отстранила, между тем, как училищное-то дело мне, как получившей образование, и было вполне подходящее. Пред начальством же мое отстранение она мотивировала разными моими недостатками.

Вообще, горькую чашу пила я в этой должности - казначеи; нередко боялась я вовсе лишиться рассудка, когда, углубившись в суть всего настоящего, не понимала причины или цели всех неправд человеческих и ужасавших меня поступков. Одно только, чем могла я себе объяснить все поведение матушки-игумении по отношению ко мне, это то, что она, как женщина простого сословия, лишенная малейшего образования, видела во мне более себя образованную и развитую личность, и хотя и без малейшего с моей стороны повода, опасалась меня и старалась от меня избавиться. Для меня же это было тем еще тяжелее, что я крепко любила ее, особенно с тех пор, как она стала для меня восприимчивой матерью.

В описываемое мной утро, когда, пришед к ней, я простодушно рассказала ей свой сон, она насмешливо и колко ответила: "Поздравляю вас, вам дали посох, теперь вы уже игумения," - и смеялась надо мной. Горько поплакала я и в это утро, вышед от нее; но потом, занявшись делами, забыла и горе, и сон. Вечером, часов около четырех, подали матушке-игумении телеграмму от митрополита Исидора, предписывающего немедленно прибыть казначее в Петербург к нему. И этот вызов был для назначения меня начальницей Леушинской женской общины, в то время не только неблагоустроенной, но даже предназначавшейся к закрытию, если окажется недоступным ее благоустройство. В течение шести лет там переменились три начальницы, по скудости средств существования и трудности дела. Вот куда судитл меня определить Промысл Божий. Со креста на крест!

XXV

Заступничество Леушинской обители Царицей Небесной и св. Иоанном Предтечей

Для того, чтобы описываемое событие было более удобопонятным, необходимо предварительно сказать несколько слов о состоянии самой обители в то время, когда я вступила в управление ей, в 1881 году. В предыдущем рассказе я объяснила обстоятельства моего назначения начальницей сей Леушинской общины, дотоле совершенно мне неизвестной, даже и по имени. Митрополит Исидор знал меня лично, впрочем, один только раз побеседовав со мной, а более - по отзывам других, но так ли или иначе, считал меня способной к делу. Это мнение свое он высказал мне, между прочим, отправляя меня в Леушино, словами на мое указание моей еще молодости для занятия такого поста: "Старому там и делать нечего; эта община требует умного распоряжения, деятельного надзора; она мне надоела, вот уже четвертый год, я тебя четвертую назначаю, а если и ты не сделаешь ничего полезного, то я ее закрою; одно только может быть, что ты там соскучишься, ведь там - глушь, пустыня." Но не глушь и одиночество сломили меня в Леушине, а вмешательство мирского семейства купца Максимова; землю под эту общину купили они, почему и считали себя полновластными распорядителями и вмешивались во все дела, даже самые пустяшные. Были и из числа сестер склоненные ими на их сторону, которые и передавали им все

случавшееся в искаженном виде, сообразно со своими взглядами, а особенно назирали и перетолковывали все поступки и распоряжения начальницы. Понять правильности ее действий они не могли, потому что сами они были деревенские, даже безграмотные, никогда и не слыхавшие о правилах монастырской жизни. Главное же чувство, руководившее ими, было чувство зависти; по времени поступления своего в общину они были старшие и считали, что право начальствования и управления общиной принадлежать должно им, а не другой личности, "неведомо откуда пришло", как они выражались, и критиковали все распоряжения начальницы, жаловались Максимовым, а те, в свою очередь, митрополиту, и бедным начальницам приходилось до такой степени трудно, что они предпочитали удаляться в свои прежние монастыри. Та же участь постигала и меня, даже еще и в высшей степени: враждующая партия и сами Максимовы с первого же раза увидели во мне более трудную соперницу, со своей стороны и их поступки более и яснее понимающую и, вероятно, опасаясь за себя, решились действовать против меня всеми силами своей злобы, приговорив на свою сторону и местного священника общины. Я сразу поняла трудность своего положения; а главное, зная, какими гнусными клеветами они осыпали прежних начальниц для того, чтобы выжить их, я опасалась и за себя; я была по летам еще очень молода, сравнительно с прежними, и меня могли они еще более очернить и оклеветать перед начальством, что могло повредить мне на всю жизнь. Я видела себя как бы между двух дорог поставленной: или идти напролом всех трудностей, самоотверженно решиться понести все и клеветы, и напасти, чтобы с Божией помощью, победив все, исправить и упорядочить обитель, как следует, или же, из сознания своей к сему немощи, не вдаваться в дальнейшую опасность, и скорее утекать от такого зла, тяготевшего надо мной во всех его видах и ужасах.

По долгом и здравом о сем размышлении, я не могла не сознать свою немошь для такого великого дела, как устройство обители, при всех противостоящих тому обстоятельствах, ибо, кроме еще всех неприятностей, и материальных средств у общины не было ни гроша, и я решилась во что бы то ни стало удалиться из обители, объяснив все откровенно митрополиту, и просить его об увольнении. Исхода иного я не видела; крест, выпавший на мою долю, ощущался непосильным; извилины и происки хитрости противников на мою прямую, открытую душу влияли неотразимыми ударами; я ужасалась, скорбела, и, наконец, выбилась из сил; решимость моя оставить обитель была бесповоротна, и я лишь выжидала случая, как бы за каким-либо предлогом уехать из обители и уж больше не вернуться.

И вот однажды видится мне необычный сон.

Вся монастырская площадь как бы объята пламенем; по небу ходят грозные огненные тучи; одна из них как бы спускается на корпус, стоявший против того, в котором жила я (где была и домовая церковь), и в то же мгновение тот корпус вспыхнул пожаром. Ожидая такой же участи и нашему церковному корпусу, я в ужасе отклонилась несколько от окна, в которое смотрела, и, обернувшись по направлению других келий, где тоже смотрели в окна сестры, сказала им: "Молитесь, сестры, вот одно мгновение, и наш корпус загорится, и церковь Божия сгорит, и мы все сгорим, молитесь!" Сказав это, я снова обратилась к окну; но каково же было мое удивление, когда я увидела вместо оконной рамы (сейчас лишь бывшей тут, в которую я и смотрела) икону, стоявшую ликом на монастырь, а ко мне - доской. Чтобы узнать, какая это была икона, я стала заглядывать сбоку; вдруг икона стала сама поворачиваться понемногу и стала как бы поперек окна, ликом обратясь ко мне, стоявшей по левую ее сторону. Я увидела, что это икона "Скоропослушницы" Божией Матери, и к довершению моего изумления, у Нее в ножках лежала живая глава св. Иоанна Предтечи, с которым Она, Владычица, громко разговаривала.

Я ясно слышала этот их разговор и видела, как уста живой главы шевелились, произнося слова, но разобрать, расслышать разговора не могла. Вдруг Царица Небесная обратилась ко мне и говорит: "Чего вы все смущаетесь, и ты чего боишься?" И с этими словами Она подняла Свою правую ручку и, ей указывая на главу Предтечи, прибавила: "Мы с ним всегда храним Свою обитель! Не бойся, больше веруй!"

Объятая неизъяснимой радостью от этих слов, я бросилась поцеловать эту ручку, пока она живая, и в трепете воскликнув: "Владычица!" - я облобызала эту ручку, но уже не живую, а изображенную, как и вся икона.

В ту же минуту я проснулась; легко, отрадно было у меня на душе, как будто никакого горя и не было. Слезы радости лились, и я вся трепетала. Я, очевидно, понимала, что Она хранит Свою обитель вместе с Предтечей, коему посвящена эта обитель (Предтеченская), и, укрепившись верой, я твердо решила все терпеть и трудиться для пользы святой обители, хотя бы и умереть пришлось для сего, но самовольно не оставлять обители и стараться упорядочить и благоустроить ее с помощью Самой Владычицы, в чем уже и не сомневалась.

Реки слез проливала я и после, достигая своей цели; я делала свое, а враг - свое, воздвигая на меня всякого рода гонения и беды, часть которых поленится еще здесь в описываемых явлениях.

Крест

Однажды в этот период труда и скорбей первоначального благоустройства обители, я сидела вечером в своем кабинете одна; двери уже были затворены, все легли спать, а я, готовясь к тому же, сидела, сама не знаю, почему мешкая ложиться. Я не молилась, и не то чтобы о чем раздумывала, а так тяжело мне было, очень тяжело, и я как-то безмолвна была и мыслью, и душой. Вдруг, очевидно, не во сне (ибо я не спала, как сказано, а просто сидела, вполне сознавая все окружающее меня) ясно увидела я среди кельи моей крест деревянный, такой большой, что почти до потолка от пола; в том месте, где соединяются долевые и поперечные части, было как бы перевязано кровавой чертой наискось; увидев крест, я нимало не смутилась; а перекрестившись на него, невольно подумала: "Какой большой, где же мне его снести." Вдруг как бы с самого этого креста услышала я слова: "Понесешь и снесешь, сила бо Моя в немощех совершается!"

Это сочла я или подкреплением мне в моей многоскорбной жизни, или же предзнаменованием новых и еще больших скорбей. Хотя и грустно мне стало, но я благодушно приняла это, будучи готова на всякое страдание ради блага обители, и ради прославления Имени Божия чрез нее.

XXVI

Чудесное исцеление от тяжелой болезни св. Архистратигом Михаилом в 1882 г.

С самого начала моего вступления в управление Леушинской общиной, я всегда относилась к митрополиту Исидору откровенно и чистосердечно. Ему много на меня клеветали, чернили меня и злословили; не знаю, в какой степени он верил этому, но меня всегда принимал, спрашивал обо всем, иногда даже словами: "Скажи мне как бы на исповеди"; и я говорила по чистой совести, не скрывала и своих ошибок, без которых тоже не обходилось. Он и побранивал меня, но больше утешал, напоминая мои монашеские обеты терпеть все.

14 января 1883 года приехала я в Петроград и пришла к нему с отчетами за истекший год, которые он сам приказал мне подать ему лично для большей скорости и краткости, чем через Консисторию.

Владыка принял меня милостиво и пригласил сесть. Просмотрев отчеты, которые в то время были еще так немногосложны, он сделал вид недоумения, что я не могла не заметить.

Стал спрашивать меня и на словах обо всем, по несколько раз; наконец, сказал: "Я тебе, пожалуй, и верю, но вот посмотри-ка, что мне на тебя написали; тут и запутаешься с вами: ты пишешь и говоришь одно, а тут совсем другое."

С этими словами он подал мне две принесенные им бумаги и сказал: "Не спеша, рассмотри их, и по совести напиши мне на них ответ. Я верю тебе, - добавил он, - но на бумагу надо бумагу же."

Тут Максимовы на тебя пишут многое, а тут и общинки те, которые вышли у тебя из общины, жалуются, что ты их выгнала. Так вот прочти и дай мне ответ, чтобы им же заградить уста."

Надобно сказать, что в конце минувшего года, 22 октября, странницы Максимовы, о которых я упоминала, видя, вероятно, безуспешность своих против меня козней, выдумали новую штуку: однажды при сестрах в трапезе объявляют они мне, что в числе семи человек они уходят из общины. Конечно, я удивилась такой неожиданности, но, ничего не подозревая, подумала, что это и слава Богу, хоть других перестанут смущать. Впрочем, они стали сманивать и других сестер, из коих никто их не послушал и не ушел. Так как они были приукажены к общине, то я и донесла обо всем преосвященному викарию, сообщая о случившемся и прося разуказить их. Мудрый архиерей Варсонофий понял дело лучше меня и частным письмом посоветовал мне взять с них подписку, что они уходят самовольно, после чего и обещал прислать им увольнение. Но бунтовщицы эти, тоже, видно, смекнув дело, наотрез отказались дать подписку, и, не дождавшись увольнительной им бумаги, ушли самовольно. Мне теперь ясна стала их затея, но делать было нечего.

Настало самое ужасное, самое тяжелое для меня время. Буянки ушли, ночью отправляя свои пожитки, точно чего боялись днем; письма и посланники заволокли монастырь, в то время еще общину. Всех приглашали расходиться, говоря, что меня сошлют чуть не в Сибирь; благодетели прекратили свою помощь общине, считая ее предназначенной к разорению. Вся община волновалась, мутилась; на общественных трудах не было никакого послушания, ни порядка, все считали себя на пороге выхода, совещались, волновались, и, что происходило, описать невозможно.

Впрочем, большинство сестер меня жалели, а иные и со слезами утешали меня, и как ни волновалось все общество, но, кроме семи помянутых буянок, ни одна не ушла из общины. Так шло время, и мало-помалу волнение стало утихать хотя по внешности. Максимовы, служившие корнем всего зла и смут, действовали деньгами, начав являть свои милости, чтобы склонить на свою сторону и сестер, и священника, уже сдавшегося им, и даже самого благочинного, бывшего игумена Моденского монастыря, который сам мне об этом сообщал, показав даже письма Максимовых. Им только того и хотелось, чтобы общину закрыли, и земля, таким образом, осталась бы снова их собственностью, на которой и устроили бы они сыроварню, так как они торговали в Петербурге сыром и маслами, почему и от общины, и от меня требовали доставлять им масло; очевидно, и я, как и мои предместницы, на это не сдавались.

Между тем общинки, вышедшие, написали на меня митрополиту прошение, что будто я их выгнала из общины без вины. Максимовы подали на меня прошение другого рода, самое злостное, клеветливое, ни слова одного правды не было в нем.

Вот эти-то два прошения и подал мне Владыка митрополит, когда я 14 января пришла к нему.

При Владыке мне не удалось прочесть этих бумаг; вышед от него, я сряду же поехала на квартиру, где была остановившись, к потомственному почетному гражданину Ефрему Никифоровичу Сивохиному; это семейство всегда любило и уважало меня, и в моих многих

скорбях и трудностях в Леушине принимало большое участие. У них я нашла целое общество, уже сидевшее с ними за обедом, за которым было оставлено место и мне, так как меня они ожидали. Был у них серебряник Хархаров с женой и наш общий духовный отец Сергиевской Пустыни духовник, иеромонах Герасим. Все сидевшие за столом были как бы "свои люди", почему и на вопросы их о моем замедлении я сказала всю правду и показала привезенные бумаги, которые прочитать давно уже мучило меня любопытство. Начался обед, а с ним и чтение прошений на меня; читал их Хархаров, так как я сама, начавши, продолжать не могла.

Во время чтения таких бессовестных клевет на меня и напраслин, разумеется, тысячи укоризн сыпались на Максимовых; о. Герасим, хорошо понимая, как это должно было повлиять на меня, обратил, прежде всего, всеобщее внимание на милость ко мне Владыки митрополита, не давшего никакого хода этим прошениям, а мне же их вручившего. Я и сама это хорошо понимала и ценила, но горькие мысли роились одна за другой; "Что же, - думалось мне, - теперь отдал он мне, может быть, и в самом деле верит мне, но враги мои не угомонятся, и опять будет то же, и без конца, без конца." Плакать я не могла; как камень лежал на сердце, и состояние мое было вполне безотчетно.

Просидели мы за столом более двух часов, все толковали, и все душевно жалели меня, даже плакали; особенно жалел меня о. Герасим. Стали выходить из-за стола, встала и я, но тотчас же опять опустилась на стул, - ноги не слушались, не могли идти. Кое-как с помощью посторонних, около стенки добралась я до своей комнаты и легла на постель отдохнуть, меня сильно клонил сон, и я стала приходить в какое-то бессознательное состояние и равнодушие. Я сряду же заснула, так что все удивились и признали этот сон ненормальным. Это было в третьем часу пополудни; в седьмом часу меня насилу добудились к чаю. Я проснулась, но, к ужасу моему, не могла шевельнуть ногами, они отнялись совсем. Послали за доктором, жившим наверху в том же доме; он признал нервный паралич, советовал бы попробовать лечение электричеством, но боялся, что крайне ослабленная нервная система не выдержит. Между тем послали за своим домашним доктором Карпинским, который нашел то же и посоветовал оставить все до завтра, советуя успокоиться вполне. Но я и без того ощущала в первые дни болезни какое-то спокойствие или, вернее, бесчувствие: ни скорби, ни тревоги, ни даже ясного воспоминания случившейся со мной напасти не чувствовала я. Точно в каком-то бесчувственном состоянии я находилась и этот вечер, и следующий день. На третий день я с утра лишилась и употребления рук, и они отказались служить и даже шевелиться. Но тут сознание моей беспомощности пробудило меня от оцепенения, и я как бы проснулась от своего равнодушия, стала снова скучать, плакать и чувствовать. Двенадцать дней пролежала я в квартире Сивохиных, но вот приближался день Ангела хозяина, 28 января пр. Ефрема, и я хорошо понимала, какой помехой буду служить во время праздника я, в своей неподвижности, не могшая двинуть ни рукой, ни ногой. Поэтому я стала подумывать о том, куда бы переселиться из квартиры благодетелей, которые ходили за мной, как за родной, нанимали докторов, платили за лекарства и пр. Я была знакома с начальницей Свято-Троицкой общины сестер милосердия на Песках Е.А.Кублицкой. Я и попросила доктора Карпинского написать ей записочку - попросить взять меня к себе в общину. Он исполнил мою просьбу, и 26 января, в самый день моего Ангела (мирское имя Марии), чего никто не знал, меня вынесли на руках, внесли в экипаж и тихонько, как покойницу, повезли в общину, где тоже на руках внесли в самый верх в палату, где я и пролежала еще пять недель.

Сивохин, между тем, по моей просьбе, съездил к митрополиту и объявил ему о случившемся со мной. Владыка сердечно пожалел меня и сказал: "Ведь я не думал, что она так горячо это примет; я знаю, что она не виновата, что это все клевета, для этого и надо

было дать ответ клеветущим." Он взял назад оба прошения без всяких ответов на них, так как я не могла писать, и как кончилось это дело, я не знаю, ничего и не слыхала более о нем.

Я лежала в больнице, окруженная всеобщим вниманием. Сам митрополит присылал иногда меня навещать и посылал мне свое благословение. Посланными от него были два раза о. архим. Исайя (бывший эконо́м) и раз секретарь его В. П. Николаевский. Но я невыносимо страдала: к первой болезни присоединилось еще воспаление легких.

Наступил Великий пост; пение сестер доносилось до меня из церкви по коридорам, но оно лишь больше волновало меня; я переносилась мыслью в милую и дорогую мне общину, для блага которой я столько терпела, и теперь уже, лежа между жизнью и смертью, не надеялась больше увидеть ее.

Наступала весна, и надо было предполагать, что скоро начнут расходиться реки; в таком случае мне нельзя было и думать попасть домой раньше мая, ибо надо было от Рыбинска ехать лошадьми сто верст, причем переезжать Волгу и Мологу.

Между тем из общины беспрестанно писали письма сестры, в самое смутное время оставшиеся одни, без меня, волнуемые разными тревожными слухами и обо мне, и о себе самих. Буянки, поселившиеся невдалеке от общины, где Максимовы, как бы нарочно, купили им землю, пропустили и тут о болезни моей самые бессовестные и нелепые слухи; разумеется, им не верили, потому что были и другие источники сведений, но, тем не менее, все волновались, скорбели, а иные и вовсе оставили теперь общину, желая избавиться от непрерывающихся тревожений и смут.

Мне надо было решаться, или такой же неподвижной больной (по миновании, впрочем, воспаления) быть перевезенной в обитель, где и умереть мне представлялось отраднее, чем в стенах больницы, или же порешить остаться в ней до мая месяца, то есть до пароходства. Я избрала первое, тем более, что и доктора все говорили, что первое условие моего выздоровления, если только оно возможно, - покой и спокойствие.

В первых числах марта меня выписали из больницы и таким же способом, каким и везли туда, частью на руках, частью в экипаже доставили на прежнее место к Сивохиным и положили на ту же постель, где и прежде лежала. Впрочем, я могла уже несколько владеть руками, и то не кистью руки и не пальцами, а всей рукой, но и то меня радовало и подавало надежду хотя и на нескорое выздоровление.

Решено было пробыть мне дня три или четыре у Сивохиных, пока шили мне необходимую теплую одежду на руки и на ноги, и шли другие приготовления. Ноги мои все еще не владели и не двигались. Между тем дали телеграмму в общину, чтобы выслать лошадей и простые сани, в которые меня можно было бы положить, и чтобы встретили меня у самого Рыбинского вокзала.

От тревог ли приготовления или от более ясного воспоминания всего случившегося в монастыре, но мне, к ужасу моему, сделалось гораздо еще хуже, и именно накануне дня, назначенного для отъезда. В одиннадцатом часу ночи уже на день отъезда пришли два доктора, Карпинский, а другой из Троицкой общины, и объявили оба, что выезд немислим.

Все остановились на этом и разошлись на ночлег. Я в своей комнате оставалась одна с послушницей Надеждой, которая в то время находилась в Петербурге для сбора, и, за отсутствием моей келейницы, предназначалась сопровождать меня в Леушинскую общину, и за эти последние дни она ночевала со мной в комнате для услуги. В эту последнюю ночь, в виду ухудшения моего здоровья, она лежала на полу, подле самой моей кровати. И она, и все в доме уснули, наступила полная тишина. Я одна не смыкала глаз, как и в течение всей болезни, страдала бессонницей. Пробыло 5 часов утра; я невольно подумала: "Вот уже 5 часов, а в семь все подымутся, а я еще и глаз не смыкала." При этой мысли я заплакала, горько заплакала и, не

имея способности утереться платком, повернула голову и стала вытирать лицо об подушку. Тут совершилось нечто необычное. Во сне оно не могло быть, потому что я не засыпала. Вернее, в каком-то забытье, или, уже не понимаю, как.

Мне кажется, что я сижу с кем-то вдвоем и разговариваю, именно о том, что мне необходимо иметь икону Архангела Михаила. В это время, в дверь, находившуюся прямо против меня, входит кто-то, неся в руках икону Архангела Михаила, и остановился недалеко от двери. Несший ее был юноша, очень, очень красивый, белокурый, волосы золотистые, длинные с пробором посредине, как послушник юный, одет в голубую бархатную рясу.

Увидев нужную мне икону, я подошла к несшему ее, и, не долго думая, сказала: "Отдайте мне эту икону; она мне необходима, а искать ее я не могу, видите, я без ног, и ходить не в состоянии, отдайте, прошу вас!"

Юноша, вместо ответа, спросил меня весьма милостиво, но серьезно: "А знаешь ли, кто держит эту икону?"

В смущении я взглянула на него и увидела, к изумлению своему, что оба лица, как на иконе, так и лицо юноши, были совершенно тождественны. Но на иконе Архангел Михаил был в воинской одежде, с огненным мечом, как и всегда изображается, а юноша был в рясе, что мне и показалось неподходящим; тем не менее, видя сходство лиц, я отвечала несколько смущенно: "Уже не сам ли Великий Архангел?"

Как бы отвечая на первую мою мысль о рясе, он сказал: "Ангелы - послушники воле Отца Небесного." Далее продолжал: "Икону мою ты получишь, но не смущайся неимением ее, поезжай с Богом в монастырь твои (а тогда еще была община, а не монастырь), Архангел будет с тобою."

С этими словами он осенил меня крестообразно иконой, я, перекрестившись, поклонилась ей до земли и приложилась. Он, как мне помнится, осенил меня иконой три раза, повторяя те же слова: "Поезжай с Богом в монастырь, Архангел будет с тобою." Все три раза я поклонялась в землю и прикладывалась.

После третьего осенения я как бы очнулась, спустила сама с постели ноги, два месяца недвигавшиеся, надела на себя какую-то одежду, до сего времени недвигавшимися руками, и пошла по коридору в умывальню, где и умылась. Умывшись и не найдя своего личного полотенца, ибо его и не было, я направилась обратно в свою комнату, где и стала искать полотенце.

Все это совершила я в каком-то полусознании, не понимая, что со мной. Вдруг проснулась послушница Надежда и, увидав меня стоящую на ногах и притом мокрую лицом и руками, испугалась и, не зная, что подумать, схватила меня за ноги и громко вскрикнула: "Матушка, что с Вами?" Тут только я пришла в себя и, вспомнив, что за час времени перед этим я лежала без движения, вспомнила и виденное и уразумела, что сам Архангел Михаил исцелил меня. На восклицание Надежды и я воскликнула почти те же слова: "Надежда, что это, что со мной случилось?" Я села на постель и рассказала ей все случившееся. Обе мы плакали слезами истинно духовной радости и умиления.

Я оделась и, когда собрались все в столовую к чаю, вышла и я ко всеобщему и моему лично удивлению. Я чувствовала себя в силах и идти, и ехать; ноги двигались почти свободно, только в них оставалась какая-то тяжесть, точно они насыпаны были песком или чем тяжелым.

Так совершилось мое исцеление в один час или того кратче после двухмесячной тяжелой болезни.

В тот же день на часовом поезде пополудни, я выехала из Петербурга в Рыбинск. На всех платформах, где надобно было, выходила и входила сама и доехала благополучно. Я

веровала, что сам Архангел сопутствует мне, и мне легко было на душе.

Дивны дела Твои, Господи! И ни единое слово довольно есть к пению Твоих чудес!

Болезнь моя эта была как бы венцом, концом если не всех, то, по крайней мере, более сильных страданий, как моих лично, так и всей Леушинской общины. Не знаю, как и что ответил Владыка митрополит Максимовым, только они стали меньше вмешиваться в дела общины, и мало-помалу влияние их стало ослабевать.

Сестры не стали им верить, успокоилась вся обитель, и я могла смелее и самостоятельнее распоряжаться в делах управления.

На следующий 1884 год, по приглашению моему, прибыл к нам в обитель преосвященный Анастасий, викарий Новгородский (Преосвящ. Анастасий (Добрадин), умер архиепископом Воронежским Прим. Ред.), для освящения каменной ограды, которой я оградила обитель; в сущности же это был лишь предлог для приглашения Владыки, а на самом деле мне хотелось, чтобы хотя один достоверный свидетель, как очевидец, мог передать митрополиту всю правду о нашей обители. Максимовы, утратив свое прямое влияние, исподтишка не переставали наушничать на меня Владыке, что приходилось мне нередко узнавать из его вопросов, предлагаемых мне. Чтобы положить конец этому недоразумению Владыки, который по преклонности лет не мог сам посетить нас, я и обратилась к его викарию.

Вероятно, и Владыка митрополит, отпуская викария, предписал ему всестороннее внимание ко всему, во всех отношениях в общине. Преосв. Анастасий прожил у нас трое суток, осмотрел все, где только было возможно: ходил по всем кельям, разговаривал почти с каждой сестрой, обошел все амбары, погреба, конюшни, все-все, и поля, и луга, и лес.

Он очень остался доволен, и, собрав всех сестер, много поучал их, говоря и обо мне, и об устройстве обители, и обо всем.

Его отзыв вызвал и благодарность митрополита ко мне, и дело упрочилось и пошло настолько успешно, что на следующий 1885 год я уже осмелилась подать прошение о переименовании нашей общины монастырем, что и совершилось в сентябре того же 1885 года. 1 октября того же года меня посвятили в сан игумений. Тут же я подала прошение о разрешении постричь в монашество некоторых сестер.

XXVII

Первое пострижение в монашество 8 ноября 1885 года

Получив разрешение постричь в монашество некоторых сестер, я избрала для совершения пострига, который был тем важнее для обители нашей, что он был еще первый, дотоле небывалый во всей здешней местности, день 8 ноября, когда совершается празднование св. Архистратига Михаила и всех Сил бесплотных. Выбор этот имел двоякую цель: чин монашеский есть чин ангельский, почему и прилично положить ему начало в день его первообраза, а день памяти св. Архистратига Михаила потому, что в деле моего исцеления и всем дальнейшем моем служении на пользу обители я была обязана Ему, Великому моему Заступнику.

Радостен и необычен день этот был для всех сестер обители. Все они видели уже на деле, что обитель их окрепла, и окрепла настолько, что вот совершится и венец их трудов - пострижение, чего, волнуемые долговременными скорбями и неурядицами, они не могли ожидать.

Я ощущала неземную радость в сердце, и волей-неволей должна была быть восприимной матерью первым постриженницам, так как, кроме меня, монахинь не было.

Когда окончился чин пострижения, отдав посох девочке, я пошла на правый клирос, ибо во все первое время я сама и учила клиросных пению, и управляла хором, иногда в

торжественные богослужения.

Запели Херувимскую песнь; сердце мое трепетало радостью; но я сдерживалась и продолжала регентовать, чтобы и не выдать себя, и не нарушить внимания других. Запели "Всякое ныне житейское", я ненамеренно подняла глаза кверху, и увидела что-то, чего не только описать, но и вообразить последовательно не могу; увидела, будто бы и наверху храма, над солеёй, вверху перед Царскими вратами совершается тоже священнодействие, - как бы идет Спаситель, окруженный Ангелами, что-то совершается, но что и как, я решительно не могу передать; хотя и видела и слышала нечто, но необычное. Я при начале видения чувствовала себя как бы исступившей из обычного состояния; как допели Херувимскую, как совершился Великий вход, я ничего не видала и не понимала; как передался камертон из моих рук в руки регентши, я тоже не знаю и не помню.

Пришла я в себя, когда пели последние прошения ектеньи перед Символом Веры; слезы катились из глаз по всему лицу. Тут я заметила, что все на меня смотрят в недоумении, как бы в страхе; вероятно, они, то есть певчие, подумали, что мне дурно стало, потому что стали спрашивать, что со мной, что я вся изменилась в лице, и предлагали сесть. Чтобы скрыть свою тайну, я подтвердила их мысль и села, чтобы и действительно "придти в себя". Что было со мной, и что виделось мне, вполне и сама не могу выяснить.

XXVIII

Явление Пресвятой Богородицы на месте постройки храма 27 ноября 1886 г.

Давно, давно, с самого юного возраста моего, я имела сильное желание посетить святыни Киева, особенно Печерской Лавры. Но исполнить это заветное желание пришлось мне не ранее, как в 1886 году; 1 ноября сего года я приехала в Киев, где пробыла ровно две недели, то есть до 17 ноября. Главной целью поездки моей туда теперь составляло не одно исполнение желания, а более - то обстоятельство, что я приступала к закладке каменного храма во вверенной мне еще новой обители, до того времени довольствовавшейся лишь небольшой домовою церковью. Зная, что постройка храма решительно необходима, зная и то, что средств у меня на то нет никаких, я почему-то надеялась, что Сама Царица Небесная пошлет мне и средства, и выстроит храм во славу Ее и Сына Ее, как чудно совершила это Она в Киеве, соорудив Великую Лаврскую Церковь. Правда думалось мне, что теперь не те времена, не те люди, и мы-то, храмостроители, не Антонии. Но все же думалось мне, что хотя и все теперь не то, что было тогда, но Бог-то все Тот же, Неизменный, Всемогущий и строящий на пользу рабам Своим. Мне очень хотелось помолиться и как бы получить благословение на это великое и многотрудное для меня дело, именно в той чудной Великой Церкви Лаврской.

И, действительно, я там помолилась, как ни раньше, ни после нигде не маливалась, дважды приобщилась Св. Тайн - раз в Великой Церкви и раз в пещерной препод. Антония; и укрепившись верой и надеждой на помощь свыше, я вернулась в обитель на 25 число ноября.

Физически я была вся разбита дорогой, ехав в третьем классе; но и там мне пришлось сидеть между лавочек, потому что, везя с собой двух маленьких сироток, их укладывала на лавочку, а сама ютилась на ящике между ними. По этой причине физической немощи, я не могла первые дни идти в церковь. С вечера на двадцать седьмое, день Знамения Богоматери, я решила непременно на утро идти к утрени. Озабоченная этой мыслью, я проснулась в начале четвертого часа, а так как утренняя у нас бывает в 5 часов, то, одевшись и приготовившись совсем, легла еще полежать и заснула.

В этот краткий промежуток до звона к утрени мне и привиделось следующее чудное явление.

Все мы в нашей домовою церкви; пришли, чтобы отсюда крестным ходом идти

встречать идущую к нам Царицу.

У всех у нас в руках свечи зажженные, а у меня в руке, кроме моей зажженной свечи, еще толстая необожженная восковая свеча, которую мне и приказано, когда придет Царица, то зажегши от своей горевшей свечи эту толстую свечу, подать Ей, Царице.

Все мы крестным ходом и вышли на монастырскую площадь, где ныне храм, и остановились в ожидании прихода Царицы. Долго, долго Ее не было, так что у нас от свечей оставались в руках лишь маленькие огарки.

Вдруг вдали, по направлению к св. воротам, на горизонте показалось как бы восходящее солнце, между тем как был яркий полдень, и солнце светило над головами. Мы стали вглядываться в это, и увидели, что оно не подымается как обычно солнцу, а, идя по земле, подвигается по направлению к нам. Когда этот солнечный шар подошел ближе, то ясно можно было разглядеть, что он овальный, то есть продолговатый, и ядро света заключается в самой середине, в центре его. Когда оно подошло еще ближе к св. вратам, то уже ясно все увидели, что это Царица Небесная (во весь рост) шла к нам, Она-то и была ядро света солнечного, а круг, образовавшийся около Нее, были лучи. Как только Она взошла в св. врата обители, над Ней в небе запели Невидимые Силы "Достойно есть". Эту же песнь запели и сестры, ожидавшие Ее, зазвонили все колокола, и произошло нечто необычное. Между тем я раздумывала: "Так вот какая Царица пришла, не земная, как я ожидала, а Небесная Царица; так подавать ли мне Ей свечу, приготовленную для Нее, или нет?"

На эту мысль ответила следующая мысль: "Да ведь тот, кто дал такое распоряжение (а кто это был, я не знаю), может быть и знал, какая Царица придет; да притом же "истинное послушание не рассуждает"; мне велено подать, и я должна." Решив таким образом, я зажгла приготовленную большую свечу от своего горевшего огарка и, подошед к Царице, низко поклонилась Ей, но не в ноги, потому что обе мои руки были заняты, и молча со страхом и благоговением подала Ей свечу зажженную. Но к удивлению моему, Она, милостиво смотрев на меня, подняла ручку и протянула ее не к подаваемой Ей большой свече, а к моему огарку, который я держала в левой руке, и при этом сказала мне: "Мне угодна свеча, горевшая в твоих трудах для Меня, а эту свечу (указав на большую) возьми себе и снова трудись с ней, пока Я опять приду на это место" Я, объятая благоговением, не могла ни слова вымолвить и молча поклонилась Ей, взявшей из левой моей руки огарок. Тут я снова услышала пение (которое или за разговором с Царицей уже не слыхала, или же действительно оно прекращалось, не знаю) и проснулась, объятая трепетом благоговейным; из этого я поняла, что Царица Небесная как бы благословила своим посещением место, назначенное для Ее храма (храм во имя Похвалы Богородицы), ибо Она на этом именно месте стояла; благословила и труды мои, приняв прежние и указав новые, большие и труднейшие, которые предстояли мне в деле созидания храма Ее.

Слава Милостивому Ее благоволению ко св. обители нашей!

Подкрепившись верой и надеждой на помощь Царицы Небесной, я как-то смело, даже больше чем смело, приступала к постройке храма. По смете архитектора он должен был стоить около 180000 р. с., если не более; а у меня к началу дела было лишь 240 рублей и горсть материалов, составлявших лишь сетую долю требуемых. Бог Один видел и знал, как металась и страдала душа моя, но, видя необходимость постройки и не предвидя ни откуда и в дальнейшем помощи, я решилась приступить к делу, хотя бы мне пришлось на нем и душу положить, то есть убить окончательно и силы, и здоровье, которое, как я всегда думала, для того и дано нам, чтобы мы трудились во славу имени Божия и в пользу ближним. Все равно, думаю я, ранее или позднее, а здоровье: изменит, и жизнь угаснет; так лучше положить их в деле Божиим, чем так, наблюдая свой покой.

Но Господу угодно было совершить чрез меня грешную великое Свое дела храм стотысячный, храм великолепный, выстроился в три года, и окончился в удивление всем и, тем более, в мое собственное удивление. Правда, каждая кирпичинка добыта моими слезами и самоличными многотрудными сборами, как и сборами чрез сестер; но и слава Богу за это все, благословил. Он нам потрудиться ради имени Его Святого, но Сам и увенчал труды наши успехом. Скажу еще к большей ясности дела: тысячи одной не получила я нигде целиком, да и сотен весьма немного; а все больше мелкие "вдовячьи усердные лепты"; на них-то и выстроился стотысячный храм.

XXIX

В Великой Церкви

Во время этого многотрудного дела, построения храма, я, несмотря на все мое безусловное усердие, нередко падала духом. И вот Господь посылал мне грешной великое подкрепление своей благодатью, сообщаемой мне иногда (почему-то) в сонных видениях, как например.

Вижу я, что стою в Великой Церкви Киево-Печерской Лавры; церковь пуста, лишь на клиросе стоят певчие, (хоть они - не помню) и монах в мантии подошел к отворенным Царским вратам, где стала спускаться икона Успения Богоматери, причем певчие запели обычный кондак "Избранной от всех родов" и пр. По мере того, как икона спускалась, сердце мое стало ощущать благодатное чувство радости и благоговения, которое все усиливалось и усиливалось, как бы вливалось в душу мою, и, наконец, исполнило ее с избытком. Я пала на землю перед иконой, и от избытка объявшего меня чувства, неизъяснимого никаким словом, я думала, что душа моя не выдержит и оставит меня. Я проснулась; и кажется мне, что, если бы не проснулась, то не осталась бы жива. Чувство благодатное, святое наполняло мою душу, мне стало легко, светло на душе, я вся как бы обновилась, получив новые силы к продолжению своего дела, и это сладостное чувство долго не оставляло меня, недостойную. Разумеется, это сделано не ради меня, а ради великого дела, чрез меня грешную Самим Господом и Его Пречистой Матерью совершаемого.

XXX

"О, Всепетая Мати" (пред самым приездом Преосвященного Владимира)

Подобно сему описанному случаю, в другое время, именно в 1889 году, августа 31 совершилось со мной еще следующее и при следующих обстоятельствах: по многим хлопотам и делам обители, я была до крайности изнемогши и духом, и телом; к тому же случилось мне и всю ночь с 30 на 31 августа быть в дороге под сильнейшим дождем. Обогреться или даже отдохнуть мне было решительно невозможно, так как к вечеру того же дня 31 августа к нам должен был приехать наш архиерей викарный, Преосвященный Владимир (впоследствии священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский (1918г.), причислен к лику Святых Русской Православной Церковью в 1992г. Прим. ред.), ездивший по обзору епархии. В десяти верстах от монастыря, где наше подворье и пароходная пристань монастыря, я должна была около четырех часов вечера встретить Преосвященного, так как и там он должен был обозреть нашу часовню, находящуюся на пароходной пристани. Возвратившись домой лишь в 6 часов утра и сделав зависящие от меня необходимые распоряжения для встречи высокого гостя, я обошла все в обители, доглядывая порядок, и в 2 часа должна была уже отправиться в дорогу для встречи Преосвященного.

Перед этим, чтобы хотя немного, уже не говорю, - отдохнуть, а просто вздохнуть, я, запершись в кабинете своем, прилегла на кушетку. Не могу достоверно сказать, задремала ли я, или просто только забылась, но хорошо знаю, что не уснула, потому что даже намеренно не хотела дать себе заснуть по краткости оставшегося времени, и вот что совершилось со

мной,

С той стороны, куда лежала моя голова, вдали подплывает ко мне в облаках кто-то, чье все туловище скрыто в облаках, видна лишь головка прекрасного мальчика, белокурая, курчавенькая, и по сторонам ее видны плечики мальчика; эта головка плывет в облаках (но не высоко, а как бы в уровень со мной эти облака) и поет так хорошо слова "О, Всепетая Мати", - только эти три слова, не дальше; я прислушиваюсь и пленяюсь чудным пением. Головка подплывает ближе, повторяя те же слова, но на этот раз еще лучше, так что прихожу в восторг и думаю: "Нет, это не человеческое пение, так петь доступно только Ангелам." Наконец певшая головка подплыла почти под самое мое ухо, и уже на этот раз ее пение, все тех же трех слов "О, Всепетая Мати", было невыразимо сладко и чудно. Я не могла выдержать, соскочила с кушетки прямо на колени лицом к образу Богородицы, повторяя слышанную лишь молитву, и звук певца как бы эхом отдавался в ушах. Я вся объялась благоговейным восторгом, слезы лились ручьем, и в душе обновились силы и бодрость. В пятиминутный отдых я совсем подкрепилась и духом, и телом на дальнейшие дела.

XXXI

Видение о, архимандрита Вениамина (настоятеля Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря) в сороковой день по его кончине 30 сентября 1890 года

В первых главах своих записок я сообщила, как довелось мне познакомиться с о. Вениамином, бывшим в то время, когда я жила у родителей, настоятелем Боровичского Свято-Духова монастыря. По делам устройства своей обители о. Вениамин навещал и нашу усадьбу. Лучшими днями моими в тот безотрадный для меня год невольного томления среди мира были те дни, когда мне случалось видеться с этим уважаемым настоятелем. Напрасно и говорить о том, что я открывала ему свою заветную мечту об удалении в монастырь, свою скорбь о том, что меня в сем удерживали родители, и тому подобное. Он разумно утешал меня надеждой на Промысл Божий, говоря, что если внушение это мне от Бога, то Сам Бог и осуществит его, когда придет для того время, а что настоящее мое повиновение воле родителей безусловно и свято должно быть исполнено.

Когда наконец я вступила в монастырь, то и тут отец Вениамин не переставал назидать меня письменными наставлениями и вообще во всю мою жизнь до самой его кончины он был моим "старцем", то есть духовным отцом. Особенно ощутительна для меня была польза его мудрой опытности в то время, когда я сама приняла сан игумений, настоятельницы монастыря; он живо сочувствовал моим начальническим скорбям, и, хорошо зная мое внутреннее устройство, безошибочно направлял свои советы и утешения.

Из этого понятно, насколько чувствительна была для меня потеря такого человека; он был для меня, в полном смысле слова, незаменим. Я скорбела о лишении его, по силе моей немощи, поминала его, но как-то верилось мне, что отношения наши не порваны, что он и там, если будет иметь дерзновение, не оставит меня своими молитвами. Конечно, зная его добродетельную жизнь, я надеялась, что он улучит милость Божию, но, само собой разумеется, что эта мысль была лишь предположением, а не уверенностью, и мне невольно думалось: "Господи, если таким людям там не будет хорошо, то что же будет мне, грешной?" И я задумывалась на этом до скорби, до уныния.

На самый сороковой день после его кончины, помолившись, я легла спать. И вот видится мне во сне, что я готовлюсь идти к утрени на Светлый праздник Пасхи и в ожидании полунощного часа в своей келье, двери в которую заперты, одеваюсь, зажигаю лампы и вообще готовлюсь.

Вдруг стучатся в двери с обычной молитвой Иисусовой и говорят мне громко: "Полно спать, о. Вениамин уже пришел!" Услышав это, я поспешила ответить, что совсем не сплю, а

уже одета, готова идти, но тут же мне пришло на мысль, что еще рано начинать службу, и что можно бы тем временем побеседовать с о. Вениамином, и, чтобы послать за ним, я отворила дверь; но никого нет; я прошла комнату, другую, нигде никого; лишь слышно, из церкви доносится пение. Я туда спешу, чрез хоры спускаюсь в церковь, на самую солею иду и подхожу почти к иконостасу с правой стороны Царских врат, и что же вижу? Царские двери отворены и, сряду от них начиная, по обеим сторонам стоят большим полукругом священнослужители, наподобие как в соборных их служениях, с той только разницей, что в служениях предстоятель, то есть старший, стоит один на середине, а сослужащие - по сторонам равной линией, а тут они стоят рядом со стоящим на середине, и таким образом образуется как бы продолговатый полукруг. В середине его стоит о. Вениамин, а стоящие подле него как бы хотят вести его, взяв под руки с обеих сторон. И он, и все стоящие (а их очень много), все в желтых золотых облачениях, а на головах у кого - митры, у кого - камилавки монашеские (клобуки с наметками), а у кого - другое что, а кто и с непокрытой головой.

Вдруг все эти священнослужители запели дружно в один миг и чрезвычайно хорошо: "Приидите, поклонимся и припадем ко Христу" и проч. и с началом пения все тронулись в алтарь, начиная со стоявших у самых Царских дверей и кончая тремя последними, из коих два крайние вели о. Вениамина, бывшего посреди их. (Я это видела, хорошо видела, в этом ручаюсь.) Входя в алтарь, они уже пели далее приведенный стих, но что меня удивило, они спели не так, как у нас поют: "спаси нас, Сине Божий", а "спасый нас, Сине Божий, поющая Ти", и с этим словом они все пали пред горним местом, как бы пред Самим Господом, Которого я, конечно, не видала, а видела их поклонение и как бы руку, осеняющую крестным знамением о. Вениамина; "аллилуиа", это "аллилуиа" было подхвачено бесчисленными голосами и как бы перекачивалось из одних уст в другие, и так сладко, так чудно, как никогда не слыхала.

Когда наконец это смолкло, то чей-то голос из алтаря сказал возглас пред началом Литургии: "Благословенно Царство" и пр. Певчие, какие и откуда взявшиеся на правом клиросе, не знаю я, запели "Аминь" и сряду же запели Херувимскую песнь. Это удивило меня, и я подумала, что же сколько пропустили, всю половину, Литургию оглашенных. Не помню, спросила ли я об этом, или сам диакон, вышедший в это время из алтаря кадить, ответил мне: "Ведь здесь нет оглашенных, и Литургия лишь верных совершается."

Тут я проснулась; мне было очень легко на душе; прежде всего я вспомнила об о. Вениамине; посмотрев на часы, я увидела, что было 2 часа ночи, и именно во втором часу он скончался назад тому сорок дней.

Упокой, Господи, с праведными душу его, и его молитвами и меня, грешную, помилуй!